Верный. 4:35

исторический детектив

СОВЕТКАЛИ ОРАЗАЛЫ СЕРИККАЛИҰЛЫ

Оразалы Советкали
Верный. 4:35

https://litres.ru/74658658
SelfPub; 2026

Аннотация

Верный, май 1887 года. Землемер Лукин приходит в присутствие со странной запиской: вода в колодцах ведёт себя неправильно, и он ждёт землетрясения до конца месяца. До 28 мая остаётся двенадцать дней. Над ним смеются. Через пять дней он исчезает, а на берегу находят его пальто и записку: «Я устал быть правым». Молодой казах-чиновник Асылбек и больной чахоткой судья Одинцов не верят в самоубийство, но времени у них почти не остаётся. В четверг 28 мая, в 4:35 утра, город перестаёт существовать. Среди трёхсот тридцати погибших, которых считают по списку, одно имя записано неправильно.

Содержание

Верный. 4:35 4
Схема мест действия 5
Аннотация 6
Действующие лица 7
Пролог 9
Часть I. За двенадцать дней 13
Глава первая. Человек с золотым пенсне 14
Глава вторая. Вода, которой нет 22
Глава третья. Диакон 32
Глава четвёртая. Сад из полыни 39
Глава пятая. Два золотника 50
Глава шестая. Колодцы 61
Глава седьмая. Маятник 66
Глава восьмая. Ужин у Игнатия Лаврентьевича 72
Глава девятая. Четверг 76
Глава десятая. Хозяйка 80
Глава одиннадцатая. Межевое отделение 90
Глава двенадцатая. Пальто 100
Г 107
Конец ознакомительного фрагмента. 108

Оразалы Советкали
Верный. 4:35

Верный. 4:35

Советкали Оразалы Сериккалиұлы

© Советкали Оразалы Сериккалиұлы, 2026. Все права защищены.

Книга — художественное произведение. Герои и преступление вымышлены; совпадения с реальными лицами случайны. Историческая основа — Верненское землетрясение 28 мая (9 июня) 1887 года.

Иллюстрации созданы с использованием генеративных нейросетей по описаниям автора.

Схема мест действия

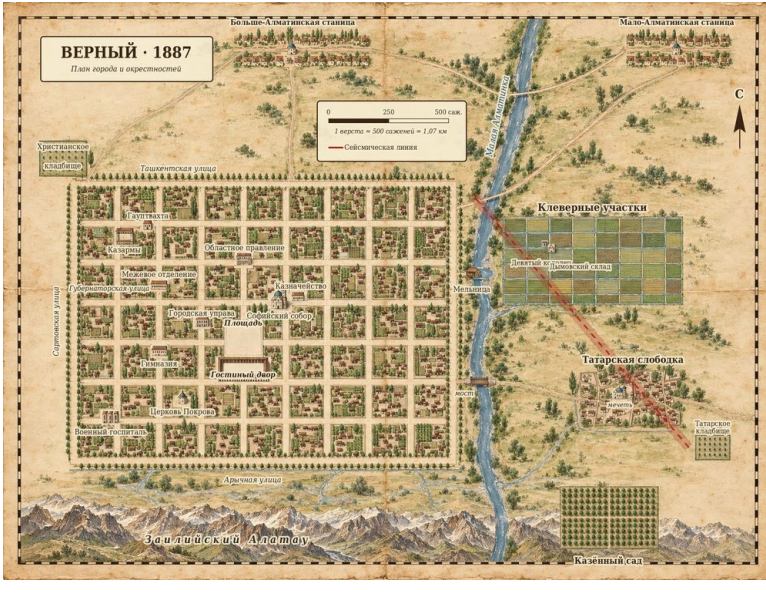


Схема без масштаба: положение окраин и границы участков условны. Май 1887 года

Аннотация

Верный, май 1887 года. Землемер Лукин приходит в присутствие со странной запиской: вода в колодцах ведёт себя неправильно, и он ждёт землетрясения до конца месяца. До 28 мая остаётся двенадцать дней. Над ним смеются. Через пять дней он исчезает, а на берегу находят его пальто и записку: «Я устал быть правым». Молодой казах-чиновник Асылбек и больной чахоткой судья Одинцов не верят в самоубийство, но времени у них почти не остаётся. В четверг 28 мая, в 4:35 утра, город перестаёт существовать. Среди трёхсот тридцати погибших, которых считают по списку, одно имя записано неправильно.

Действующие лица

Асылбек Мырзабаев— казах, чиновник Верненского уездного управления; в Рамазан держит пост

Зарифа— его жена, татарка, племянница Мансура-хаджи

Темирбек— их сын, пяти лет

Гаврила Евграфович Одинцов— уездный судья, больной чахоткой; собирает жуков

Прохор Селиверстович Лукин— землемер, измерявший воду

Игнатий Лаврентьевич Крутицкий— старший помощник начальника уезда, бывший сапёр

Варвара Андреевна— его жена

Мансур-хаджи Салимзянов— старейшина Татарской слободки

Хадича-апа— вдова портного, хозяйка Лукина

Гибадулла-хазрат— имам слободской мечети

Евлампий Фаддеевич Рябов— диакон церкви Покрова, пчеловод

Анфиса Петровна— его жена

Адольф Янович Вилле— доктор госпиталя

Парфёнов— столоначальник, писарь

Викентий Павлович Тарасов— городничий

Ксенофонт Платонович Дымов— купец второй гиль-

дии, владелец мельницы

Евсей Куприянов— его приказчик

Касым-бай Ниязов— таранчинский торговец тканями

Ма Юсуф— дунганин, колодезник и каменщик

Модест Яковлевич Орловский— учитель физики гимназии

Хамит— ночной сторож слободки

Агафон— пасечник из Карагайлинского ущелья

Ванька Шумилин— сын сапожника, посыльный

Сенька— немой мальчик из Малой станицы

Штабс-капитан Рагозин— офицер инженерной команды

Поручик Бельский— адъютант военного губернатора

Антон Бернгардович Бутаков— областной архитектор, председатель комиссии по водопроводу

Алексей Борисович Баранов— областной казначей

Сергей Алексеевич Пушкарёв— землемер Межевого отделения

Фёдор Рылеев— телеграфист

Все персонажи книги вымышлены.

Пролог

«Все жители на улицах. Сведения ещё неполны».

Из сообщения военного губернатора Семиреченской области, 28 мая 1887 года (в передаче автора, сокращено)

Ночь на двадцать девятое мая

К полуночи на площади зажгли смоляные факелы и принялись читать список вслух. Не потому, что так было поло-

жено, а потому, что бумаги не хватало, и писарь Парфёнов боялся, что ветер унесёт единственный чистый лист. Ветер был тёплый и пах пылью; пыль всё ещё не успела осесть, хотя с четырёх часов тридцати пяти минут утра прошло девятнадцать часов.

Асылбек Мырзабаев сидел на опрокинутой бочке и смотрел, как Парфёнов водит пальцем по строчкам. С заката он ел один раз, наспех, и больше о еде не вспоминал. Жена принесла ему лепёшку, и он отдал её чужому мальчику с перевязанной головой, а сам пошёл дальше.

Парфёнов читал нараспев. Так в церкви читают поминание, и Асылбек подумал, что писарь сам этого не замечает.

Ночью на площади читают список

— Номер восемьдесят девятый. Дитя мещанки, имя не названо, мужеского пола, лет четырёх. Девяностый. Девица Ульяна, шести лет, дочь урядника. Девяносто первый. Старуха, звания не установлено, из Татарской слободки. Девяносто второй...

В этом списке всё складывалось. Дети, спавшие в своих кроватках, потому что на рассвете спят крепче всего. Солдаты, которых застало в казармах. Арестанты гауптвахты. Это были люди, убитые землёй, и в такой смерти была страшная, почти утешительная ясность: она не спрашивала, кто виноват.

Парфёнов дошёл до двухсот десятого, перевернул лист и откашлялся.

— Двести одиннадцатый. Неизвестный. Мужчина, лет тридцати пяти – сорока. Найден при разборке на Клеверных участках. Опознан не был.

— Он известный, — сказал Асылбек.

Парфёнов поднял голову. Факел над ним треснул, и тень писаря на мгновение выросла вдвое.

— Простите?

— Он известный. Просто никто его не слушал.

Тишина продолжалась недолго. Где-то за площадью плакал ребёнок, и женский голос уговаривал его по-татарски,

потом по-русски, потом снова по-татарски, как будто искал, на каком языке горе слышнее. Парфёнов ждал.

— Как прикажете записать?

— Пока как есть.

Парфёнов вернулся к списку. Асылбек не слушал дальше. Двенадцать дней назад он сам взял из рук этого человека лист бумаги, сложил вчетверо и спрятал в карман вицмундира. Лист и сейчас был там. Читать его при писаре Асылбек не стал бы. Он знал его наизусть.

Часть I. За двенадцать дней

Глава первая. Человек с золотым пенсне

Суббота, 16 мая. За двенадцать дней

Лукин пришёл в тот неудобный час, когда присутствие уже думает о доме, а дом ещё не думает о присутствии. Часы в приёмной показывали без четверти два. Столоначальник Парфёнов, человек громадный и обидчивый, как все громад-

ные люди, стоял у вешалки с картузом в руке и делал вид, что ищет в нём что-то важное.

Асылбек видел всё это через открытую дверь своей комнаты и не спешил. Он сидел, придавив ладонью лист с отношением по скотоводческому делу, и считал, сколько ему осталось до захода солнца. Шёл Рамазан. К двум часам дня в горле у него стояла такая сушь, что слова приходилось выбирать короткие и без шипящих, а чернила, казалось, пахли водой. Пост он держал по привычке, как держат осанку: без усилия, пока о ней не вспомнят.

— Присутствие закрывается, — говорил Парфёнов в приёмной тем голосом, каким говорят с просителями, зная, что они не уйдут.

— Я не в присутствие, — отвечал кто-то высокий и негромкий. — Я по принадлежности. Мне вернули из канцелярии военного губернатора. Резолюция в углу: «по принадлежности в уездное управление».

— Тем более в понедельник.

— В понедельник может оказаться поздно.

Это было сказано спокойно, без угрозы, так, как говорят о погоде. Парфёнов, знавший цену угрозам и ничего не знавший о цене таких слов, только повёл плечом.

Асылбек встал. Он был человек невысокий, сухой, с лицом, которое служба приучила к выражению внимательному и немного отсутствующему, словно он слушал одновременно двух собеседников и не доверял обоим. Вицмундир сидел на

нём туго: шил его Асылбек в год, когда ожидал повышения, и повышения до сих пор ждал, а мундир успел стать тесным.

В дверях приёмной стоял землемер Лукин. Асылбек знал его в лицо, как в Верном знали друг друга все, кто носил казённые пуговицы. Высокий, худой, сутулый, с такой привычкой пригибаться под низкими потолками, что казалось, будто он постоянно извиняется перед ними. Золотое пенсне на чёрном шнурке, стёкла толстые, как донышки. Под мышкой свёрнутые трубкой бумаги, на плече кожаный футляр с медными инструментами. Сапоги по голенища в красной глине. Такой глины на городских улицах не бывает; она лежит только на Клеверных участках и въедается в кожу, как краска. Без пенсне, понял Асылбек по тому, как Лукин держал голову, этот человек не отличил бы лошади от копны.

— Прохор Селиверстович? — сказал Асылбек. — Вы по воде?

— Губернский секретарь Лукин, — подтвердил тот, приподнимая картуз и тут же роняя футляр. — Простите. Да, по воде.

— Вода к начальнику уезда, — сообщил Парфёнов, — а начальник уезда в разъезде до двадцатого.

Дверь кабинета в конце коридора открылась, и в приёмной стало как будто просторнее. Вышел Игнатий Лаврентьевич Крутицкий.

Старшему помощнику начальника уезда исполнилось пятьдесят два года. Он был широкий, неторопливый, с седы-

ми бакенбардами и руками, которым в обшлагах было тесно. В молодости он служил в инженерной команде и до сих пор складывал бумаги так, чтобы края совпадали; этим он сводил с ума Парфёнова, у которого края не совпадали никогда. Говорил он негромко, и в этой негромкости было что-то, отчего хотелось рассказать ему всё.

— Прохор Селиверстович! — Он взял Лукина за локоть, будто тот мог упасть. — Какими судьбами? Парфёнов, голубчик, ступайте домой, у вас обед стынет, я сам. Мырзабаев, будьте добры, ко мне, запишете.

Кабинет Крутицкого выходил окнами в сад, где тополя уже набрали полную листву и шумели так, будто в соседней комнате кто-то лил воду. На столе стоял самовар, три стакана, и всё лежало ровно, край к краю.

— Чаю? — Крутицкий разливал, не дожидаясь ответа. — А Асылбек Мырзабаевич держит пост, так что мы при нём станем пить смущённо.

Лукин сел на самый край стула, развернул бумаги на колене и заговорил цифрами. Асылбек давно заметил, что есть люди, у которых цифры вместо вежливости: когда им неловко, они считают.

— Седьмого апреля в нижнем городе, от Сартовской улицы до Малой Алматинки, затопило подвалы. В тридцати двух домах. Я обошёл и сосчитал. Прежде на памяти старожилов там воды не бывало. Пятнадцатого мая вода ушла. И не на прежнюю отметку, Игнатий Лаврентьевич, а ниже. Я

мерил в колодце на Татарской слободке третьего дня: на сажень с четвертью ниже прежнего.

— Ушла, — повторил Крутицкий мягко. — Так она и должна уходить. Весна кончилась.

— Весна кончилась в апреле, когда снег ещё лежал на горах. А воду подняло именно тогда, а опустило в мае, когда он тает. Это против порядка. И лошади, — прибавил Лукин, поправляя пенсне. — Хозяева в слободке жалуются, что по ночам лошади не берут корм. Собаки воют на горы. В описаниях прежних землетрясений в Туркестане я нахожу те же признаки: вода в колодцах, поведение скота. Я выписал, вот здесь.

Асылбек записывал. Ему было неловко, как бывает неловко слушать человека, который говорит всерьёз о том, что окружающим кажется смешным.

— Вы хотите сказать, Прохор Селиверстович, — сказал Крутицкий очень спокойно, — что у нас будет землетрясение?

— Я ничего не хочу сказать. Вы просите, чтобы я сказал, что я вижу. Я вижу воду.

— Вы землемер.

— Да. Я измеряю.

Крутицкий улыбнулся. Улыбка у него была добрая, чуть усталая, как у человека, который в сотый раз объясняет ребёнку, что луна не упадёт.

— Арыки пустили на Клеверные участки, голубчик. Вся-

кий ребёнок вам скажет, куда ушла вода.

— Арыки объясняют многое, — согласился Лукин. — Но не подъём в апреле. И не такой уход. Я тоже думал об арыках. Я мерил в колодцах, которые от арыков далеки.

— Мы с вами не геологи, дорогой мой.

— Я тоже не геолог. Я только измеряю.

Наступило молчание. Тополя шумели. Из-за сада доносился колокол Софийского собора, тяжёлый, ленивый, субботний.

— Вот что, — сказал Крутицкий и положил ладонь на бумаги так, что края совпали. — Оставьте мне это. Начальник уезда вернётся двадцатого. Мырзабаев изложит записку покороче, положит ему на стол, и он доложит военному губернатору. Всего четыре дня.

— Четыре дня немного, — согласился Лукин. В голосе его было сомнение, которое он не умел спрятать, и Асылбек отметил про себя, что этот человек не умеет прятать ничего: ни сомнений, ни сапог, ни дыр на рукаве.

— Вы устали, — сказал Крутицкий и поднялся, давая понять, что приём окончен. — Вы совсем один, я знаю. Берегите себя.

Когда Лукин вышел, Крутицкий ещё немного постоял у стола, выравнивая листы.

— Ты с ним помягче, — сказал он негромко, не оборачиваясь. — Человек добросовестный, но нервный. Когда долго считают, начинают видеть цифры там, где их нет. Изложи по-

короче и без выводов. Один живёт. Никого, кроме хозяйки.

— Это правда, что воду подняло? — спросил Асылбек.

— Подвалы затопило, как же. Весной всегда что-нибудь затопляет. Город стоит у реки. — Крутицкий повернулся и улыбнулся уже совсем тепло. — Ступай, обедай. То есть не обедай. Потерпи до вечера.

Лукин ждал на лестнице. Он прислонился к перилам, поставил футляр на ступеньку и протирал стёкла платком, и лицо у него без пенсне оказалось неожиданно молодым и беззащитным, лицом человека, которому часто объясняют, что он ошибается.

— Асылбек Мырзабаевич, — сказал он, — простите, что задерживаю. Вы держите пост, вам не до меня. Я только хотел сказать... — Он надел пенсне, и лицо снова стало лицом землемера. — Вот копия. Я снимал для себя. Возьмите, пожалуйста. На случай.

— На какой случай?

— Не знаю. Потому и на случай. — Он смутился. — Есть ещё соображения по водяным записям, но это уже не здесь и не сегодня. При другом случае.

Он поклонился, подхватил футляр и пошёл вниз, пригибаясь на повороте лестницы, хотя потолок там был высокий.

Асылбек вернулся в свою комнату, закрыл дверь и развернул листы. Четыре страницы мелким прямым почерком; столбцы чисел, даты, названия улиц и колодцев. Он прочёл всё, не торопясь, как читают чужое письмо, и остановился на

последнем абзаце:

«Полагаю, что наблюдаемые явления сходны с теми, что в известиях о прежних землетрясениях предшествовали сильным толчкам, и что по сходству сих признаков надлежит ожидать таковых в течение текущего месяца. Землемер Лукин».

Асылбек перечитал последнюю строку, хмыкнул, как хмыкнул бы всякий разумный человек, и спрятал листы в карман вицмундира. До заката оставалось пять часов.

Глава вторая. Вода, которой нет

Суббота, 16 мая, вечер. За двенадцать дней

Солнце село без четверти восемь. Асылбек знал это не по часам, а по тому, как изменился звук города: стихли топоры, замолчали торговцы у лавок, и в тишине, ещё не полной, но уже ощутимой, как ощутима рука на плече, от мечети в Татарской слободке поплыл азан.

Азан над слободкой

Он шёл быстро, с тем выражением лица, какое бывает у людей, которых ждёт стол. Дома в слободке стояли тесно, дворы выходили к арыку, над заборами торчали ветви абрикосов и яблонь, обсыпанные уже завязавшейся мелкой зеленью. Пахло дымом, луком, горячим жиром. Из дворов поднимались голоса, и Асылбек в который раз подумал, что Рамазан — единственное время, когда слободка, днём вялая и пустая, оживает вся сразу, как поле после дождя.

Двор Мансура-хаджи Салимзянова был виден издали: ко-

вёр, расстеленный прямо под яблоней, три лампы на столбах и сам хозяин, сидящий на подушках с таким видом, будто он поставил здесь этот вечер собственными руками.

— Зять пришёл! — сказал Мансур-хаджи. — Опоздал на четверть часа, а на ужин не опоздал. Хорошая привычка для чиновника.

Он приходился дядей Зарифе, жене Асылбека, а Асылбек шесть лет назад женился на дочери татарского мещанина, и с тех пор в слободке считался зятем, а в присутствии — человеком, у которого жена татарка. Одни говорили это с уважением, другие с улыбкой, и Асылбек научился не отличать одно от другого.

— Әке! — Из-под стола выскочил Темирбек, пятилетний, чумазый и счастливый. Он кричал отцу по-казахски, потому что дома отец говорил с ним только по-казахски, а мать только по-татарски, и мальчик был трёхъязычен прежде, чем научился читать.

Разговлялись по обычаю с воды и сушёного абрикоса. Асылбек взял кружку с холодной водой и выпил её медленно, чувствуя, как она проходит по горлу и пропадает, как проходит всё хорошее, не оставляя следа, кроме благодарности. Потом был вечерний намаз, коротко, на ковре, плечом к плечу с Мансуром-хаджи, двумя его сыновьями и имамом слободской мечети Гибадуллой-хазратом, который каждый вечер Рамазана заходил на разговение в один из домов общины. Потом ужин: суп из баранины с лапшой, горячие ле-

пёшки, горка баурсаков, а за ними плов с изюмом, который Зарифа подала сама и поставила перед мужем так, что стало ясно, кто сегодня главный.

Разговение в доме Мансура-хаджи

Мужчины ели молча, как едят после долгого дня. Мансур-хаджи заговорил, когда вторую пиалу чая налили.

— Вода, — сказал он.

— Какая вода, дядя?

— Наша. — Старик отставил пиалу. — У Габдуллы колодец ушёл вниз, как в яму. Два дня доставали воду со дна

ведром на пяти верёвках. Габдулла говорит: арыки отвели. Хорошо. Я спрашиваю: кто отвёл? На чьё поле? Никто не говорит. Ты чиновник. Ты скажи.

— Я сегодня видел землемера Лукина, — сказал Асылбек. — Он тоже про воду.

Мансур-хаджи покивал.

— Рыжий верзила в очках? Живёт у Хадичи-апы, за забором. Хороший человек. Хадича кормит его по-человечески, хотя он, прости Аллах, неверный. Он по ночам ходит, как кот. Мальчишки уже говорят, что он ищет клад.

— Он ищет воду.

— Воду, — повторил старик. — Тоже клад, по нынешним временам.

Зарифа посмотрела на мужа поверх подноса: она знала этот его взгляд, обращённый внутрь, и знала, что сейчас он встанет.

— Иди, — сказала она тихо. — Но к ночной молитве возвращайся.

Хадича-апа, вдова портного, женщина лет пятидесяти, крупная и сердитая от доброты, встретила его у калитки и сразу, не здороваясь, показала на крыльцо. На ступеньке стояли сапоги Лукина, вычищенные до голенищ, и всё равно красные, как будто их вынули из свежей раны.

— Красная глина, — сказала Хадича-апа. — Не отмоешь. Я ему говорю: Прохор-эфенди, где вы ходите? Он говорит: на Клеверных участках. Что вы там ищете? Он говорит: меряю.

Мерить ночью! Скоро его собаки будут принимать за своего.

— Он дома?

— Где ему быть. Сидит, считает. Чаю не просит, сама отнесла. — Она вздохнула. — Один человек. Один. Пусть хоть кто-нибудь придёт.

Комната Лукина была похожа на карманы своего хозяина: в ней всё лежало там, где было удобнее ему, и нигде, где ожидал бы посторонний. На столе горела лампа с зелёным абажуром, рядом стоял медный нивелир, обёрнутый тряпицей, лежали три тетради в клеёнчатых обложках и циркуль с отломанной ножкой. К стене была прибита верёвка, ровно размеченная узелками, с гирькой на конце: так, объяснил потом Лукин, мерят глубину колодцев. На подоконнике сидела кошка, не принадлежавшая никому.

— Асылбек Мырзабаевич, — Лукин вскочил, ударился головой о косяк, вернулся, и пенсне съехало ему на нос. — Вы были так любезны. Садитесь. Чаю? Нет, вы же после заката, вы можете. Хадича-апа поставила, он остыл. Я не успел сказать вам... От вашего порога до порога Мансура-хаджи сорок семь шагов, если не огибать лужи.

— Вы считали шаги?

— Привычка. — Лукин покраснел. — Это не нужно.

Асылбек сел на единственный стул. Он был голоден той второй, мягкой голодной усталостью, какая наступает после сытного ужина, когда тело уже требует сна, а голова ещё нет.

— Я не понимаю, чего вы хотите, — сказал он прямо. —

В записке вы пишете о землетрясении. Кто станет читать записку, в которой землемер предсказывает землетрясение?

— Никто. — Лукин взял в руки тетрадь и вдруг заговорил очень быстро, почти скороговоркой, так, как говорят, когда долго репетировали. — Именно поэтому я прошу вас читать не то, что в конце. Читайте то, что в середине. Вот. Это воды.

Он развернул лист, исчерченный линиями. Асылбек увидел реку, тонкую синюю нить, и вдоль неё россыпь пронумерованных прямоугольников, как карточки в колоде.

— Расход Малой Алматинки в межень. Я мерил его три раза, в прошлую осень и в эту весну. Река даёт в сутки столько-то. — Он ткнул пальцем в число и сразу же в другое. — Записи областного правления о водопользовании расписывают воды по участкам столько, что потребовалось бы две таких реки. Воду продали дважды.

— Продали?

— Не продали, конечно. Записали. — Он смутился. — Но запись для бумаги и запись для реки — разные вещи. Река не читает записей.

Асылбек подался вперёд.

— То есть кто-то записал воду, которой нет?

— Воду, которой нет, и землю, на которой никто не живёт. Вот. — Палец уткнулся в ряд квадратов у края листа. — Клеверные участки, с сорок первого по сорок седьмой. По записям там сады, а один участок с запрудой. Я хожу туда по ночам. Ночью вода спокойнее, и видно, куда она течёт. Там

пустырь и один колодец, девятый. В мае вода из него ушла. Колодец, у которого записано четыре владельца, из них я нашёл только одного, и он живёт в Копале.

— Но бумаги подписаны.

— Бумага терпит, — сказал Лукин. Он сказал это без злости, как говорят о погоде или о собственном росте. — Я никого не обвиняю, Асылбек Мырзабаевич. Я не обвинитель. Я землемер. Я сложил цифры, сумма не сходится. Кто-то ошибся, такое бывает. Но ошибка, которая приносит прибыль, редко бывает случайной.

В комнате стало тихо. Кошка спрыгнула с подоконника и ушла под кровать, и стало слышно, как за забором Хадича-апа ставит посуду в таз.

— Вы кому-нибудь говорили об этом? — спросил Асылбек.

— Одному человеку в управлении. Он обещал помочь. Он умеет слушать. — Лукин снял пенсне, потёр переносицу, и лицо его сразу стало беззащитным. — А вам я говорю потому, что вы единственный там, кто не объясняет мне, что я ошибаюсь, прежде чем дослушает.

Асылбек не нашёлся, что ответить. Ему польстило, и он злился, что польстило. Он хотел сказать, что чиновник не может верить всякому, кто приходит с цифрами; что воды этой, может, и в самом деле записано много, но писали её люди, у которых есть жёны, обед и срок службы; что землетрясение, если уж на то пошло, случается в Верном каждые

несколько лет, и город до сих пор стоит. Он ничего этого не сказал.

— Я прочту записку внимательно, — сказал он. — Это всё, что я могу обещать.

— Этого достаточно.

Лукин проводил его до калитки. Он не умел идти рядом: то отставал, то обгонял, то останавливался, чтобы поднять что-то с земли, и выпрямлялся с пустой ладонью. У калитки он вдруг тронул Асылбека за рукав.

— У меня к вам одна просьба. Если я вдруг перестану приходить, не объясняйте этого моим нравом. Я человек точный. Я не опаздываю и не пропадаю.

Асылбек засмеялся.

— Вы в своём уме, Прохор Селиверстович?

— Я в Верном, — сказал Лукин.

Он поклонился и ушёл в дом, пригибаясь под притолокой, хотя притолока была выше его на пол-аршина.

Ночная молитва в Рамазан

Ночная молитва уже началась. От мечети, перекрывая все дворы, шёл густой многоголосый гул, и Асылбек пошёл на него, как идут на свет. Во дворе Мансура-хаджи было почти пусто: ковёр убран, лампы погашены. У корыта стоял гнедой мерин, которого утром привели с пастбища, и не пил, хотя день был жаркий. Асылбек потрогал его тёплую шею. Мерин переступил копытами, фыркнул и отвернулся.

Асылбек ничего не подумал. Это он вспомнит позже.

Глава третья. Диакон

Воскресенье, 17 мая. За одиннадцать дней

Диакон Евлампий Фаддеевич Рябов служил в церкви Покрова девятый год и за это время понял две вещи: что голос — не заслуга, а нагрузка, и что человека лучше всего узнавать по тому, как он стоит в храме.

Голос у него был бас, такой густой, что когда он возглашал

ектению, у старух в первом ряду дрожали платки, а у регента Прокофия Ильича к концу службы портился слух. Весил Рябов восемь пудов, и когда шёл по солее, половицы отзывались заранее, как собаки на хозяина.

Нынче была седьмая неделя по Пасхе, память святых отцов Первого Вселенского собора, и церковь Покрова, давно ставшая тесной для прихода, с утра дышала людьми. Казачьи семьи из Больше-Алматинской станицы стояли справа, плотно, плечом к плечу, как строятся. Слева купчихи в платках, чиновничьи жёны в шляпках, мещанки, дети. На клиросе регент выводил вполголоса, проверяя, у кого сегодня голос, а у кого только вид. Окна стояли настежь, и в храм вместе с воском и ладаном вплывал запах нагретой пыли и цветущей где-то за оградой джиды.

Евангелие читал он. На седьмое воскресенье оно было из Иоанна, молитва Христа перед страстями, и Рябов знал его наизусть, как знал наизусть почти всё, и каждый раз спотыкался на одном и том же месте, на первых словах. «Отче, прииде час». Он понимал, что это молитва, а не приговор, и всё равно голос его на этих двух словах становился тише, чем нужно. Регент это замечал и никогда не говорил.

Потом, на выходе с Евангелием, он увидел его.

У самой двери, в густой тени, стоял высокий человек с золотым пенсне, и Рябов узнал в нём землемера Лукина, которого видел раньше на базаре и никогда в церкви. Тот стоял так, как стоят люди, не уверенные, что им можно войти:

боком, прижимая картуз, готовый уйти при первой неловкости. Перекрестился он быстро и очень точно, как проверяют, на месте ли карман.

Во втором ряду, у образа, стоял Игнатий Лаврентьевич Крутицкий, старший помощник начальника уезда, прихожанин исправный и тихий. Рябов знал за ним одну странность, которую никому не поверял: Игнатий Лаврентьевич ставил свечи только за упокой. За здравие никогда. Подходил к подсвечнику, брал сразу три, четыре, ставил за упокой всех подряд, и за тех, кого не знал, и за тех, кого знал плохо, и уходил, не оглянувшись. Рябов однажды спросил его об этом осторожно. «Живые, — ответил Игнатий Лаврентьевич, — и без меня справятся. А этим некому».

Это прозвучало хорошо, и Рябову понравилось. Он долго потом не мог понять, почему ему от этого не по себе.

После обедни, в приходском доме, пахло воском и мёдом. Дьяконица Анфиса Петровна накрывала стол, и в её лице было то выражение, с каким женщины встречают в доме человека, которого пожалели ещё в дверях.

— Садитесь, Прохор Селиверстович, — сказал Рябов. — Чаю с мёдом. Мёд свой, с сада. Двенадцать ульев, и все помнят моего деда. Что значит, что они его пережили.

Пасека диакона

Лукин сел на самый край стула. Он умел сидеть только на краю, как будто стул был занят кем-то невидимым.

— Отец диакон, — сказал он, не прикасаясь к чашке, — позвольте спросить. В Писании встречаются землетрясения?

Рябов отломил кусок хлеба и сунул в мёд.

— Встречаются. Одно при Распятии, одно при Воскресении, одно, говорят, при кончине мира. И все три вовремя.

— Я спрашиваю о приметах.

— О каких?

— Бывало ли, что перед тем люди замечали что-нибудь.

Скот. Воду. Птиц.

Диакон жевал. Он любил этот момент, когда вопрос уже задан, а ответ ещё можно сделать мудрым или смешным, и он, как правило, выбирал смешной, потому что мудрый всегда успеет.

— Священник вам скажет, что Бог не предупреждает, а судит, — сказал он. — А я скажу: скотина чует раньше. Это не богословие, это пчеловодство. Когда гроза идёт, пчёлы возвращаются в улей за час, а человек ещё в рубашке стоит.

Он вдруг замолчал. Ложка в его руке остановилась.

— Вот что. В позапрошлое воскресенье приходил Агафон, пасечник из Карагайлинского ущелья. За воском приходил. Человек непьющий, десятый год у меня воск берёт. Говорит: в горах по ночам кто-то стонет. Не воет, не кричит, а стонет, глухо, как под землёй. Говорит, три ночи подряд. Я ему сказал: Агафон, это ветер. Он на меня посмотрел и ушёл. Он очень редко на меня смотрит.

Лукин выпрямился.

— Где именно?

— Карагайлинское. Верстах в двенадцати.

Лукин вынул из кармана тетрадь и записал, быстро, ломая карандаш.

— Только не в бумагу, — сказал диакон. — Над пасечником смеяться будут. Они над всяким смеются, кто ночью не спит.

— Я знаю, — тихо сказал Лукин. Он положил карандаш.

— Отец диакон, я боюсь не землетрясения. Я боюсь, что окажусь прав, и это будет никому не нужно.

Анфиса Петровна у печки замерла с чашкой в руках. Рябов отложил хлеб. Он давно не слышал такого ясного страха, сказанного таким спокойным голосом.

— Видишь ли, брат, — сказал он, перейдя на «ты», как переходят на него с людьми, которые просят о большем, чем чай. — Скажи один раз. Если не услышат, скажи другими словами. Если опять не услышат, молись, а от глухих себя не береги, но и себя не казни. Больше этого человеку не дано. Всё остальное сверх меры, а меру спросят не с тебя.

Лукин посмотрел на него сквозь толстые стёкла, и диакон увидел, что глаза у него светлые, детские и очень усталые.

— Спасибо, — сказал он. — Мне как раз этого не хватало.

На крыльце, прощаясь, они столкнулись с Крутицким. Игнатий Лаврентьевич выходил из церковной ограды, держа картуз в руках, и увидел их обоих. Лицо его осветилось.

— Прохор Селиверстович! Вот это по-нашему, и в церковь ходите! Берегите себя, голубчик. Отдохните. Начальник уезда вернётся, всё уладится. — Он коснулся плеча землемера тёплой тяжёлой ладонью и, кивнув диакону, пошёл прочь, ровно, как идёт человек, у которого впереди целый день.

Лукин смотрел ему вслед. Рябов смотрел на Лукина.

Он не умел бояться вслух, подумал диакон. Это самый опасный способ бояться: тот, кто боится вслух, хотя бы успевает пожаловаться.

Вечером Асылбек читал записку Лукина при лампе, на втором этаже своего дома, куда он поднимался только в тёплые ночи, когда в комнатах было душно. Он прочёл её второй раз, потом третий, и на третий раз начал считать вместе с автором.

Он не ждал, что это его заденет. Лукин считал медленно и честно. Дата, улица, дом. Подвал затоплен: семь вершков воды. Подвал затоплен: девять вершков. В одиннадцатом доме подвал сухой. В двенадцатом и тринадцатом сухие. Потом снова подвал, снова. Асылбек откладывал каждую цифру, как складывают деньги, и к концу записки у него получалась картина, которой он не хотел.

Вода шла не по порядку. Она шла сквозь город, как идёт через дом человек, которого не звали.

— Что там? — спросила Зарифа, вернувшись с крыши, где снимала сушившееся бельё.

— Цифры.

— Тогда почему у тебя лицо, как у человека, которому читают завещание?

Он не ответил. Внизу, в слободке, выли собаки, одна, потом две, потом целая цепочка, и все на горы. Впервые это показалось ему не глупостью, а арифметикой.

Глава четвёртая. Сад из полыни

Понедельник, 18 мая. За десять дней

Гостиный двор в понедельник пах так, как пахнет только город, который живёт торговлей и не успел этого стыдиться: сушёным абрикосом, дёгтем, кожей, горячим хлебом, овчиной и пылью. Асылбек шёл между лавок с поручением начальства, купить сургуч и бумагу, и в горле у него стояла су-

хая дрожь Рамазана. Над рядами висел многоязычный гул: русская скороговорка, татарское пение торгующихся, казахский низкий говор, где-то дунганин считал вслух на своём, быстро и звонко, как стучат палочками. Каждый торговал на своём языке, а понимал все остальные.

— Мырзабаев! Ваше благородие!

Голос ударил в спину, и Асылбек понял, что сургуч придётся купить не скоро. По проходу, раздвигая людей брюхом, к нему двигался Ксенофонт Платонович Дымов.

Купцу второй гильдии было сорок девять, и всё в нём было излишне: голос, борода, жилет с цепочкой, надежда на будущее. Он держал мельницу на запруде, сады в аренду, и считал, что город принадлежит тем, кто его кормит, а кормит его он. Красный, шумный, любящий слово «я», он при этом, как заметил Асылбек, никогда не бывал по-настоящему неприятен: в нём было что-то от крупной собаки, которой дозволено лаять на всех.

— Когда повысят? А? Я хлопочу! Скажу Игнатию Лаврентьевичу, он человек справедливый. Ах, Мырзабаев, вы на посту, вам не предложишь. — Он захохотал. — Я завтра на заре с товаром в Кульджу, на неделю, не позже. Вернусь с шёлком, привезу вашей жене.

— Благодарю, — сказал Асылбек.

— Слыхал, ваш землемер, — Дымов понизил голос ровно настолько, чтобы его слышали только ближайшие десять человек, — воду пересчитывает. Ха! Пусть считает. У меня

воды на всех хватит. Скажите ему: хоть сто колодцев пускай мерит, мне не жалко.

Он хлопнул Асылбека по плечу, как хлопают по крупу своей лошади, и пошёл дальше, оставив после себя запах мыла и дорогоготабака.

Асылбек купил сургуч. В лавке при выходе он остановился и подумал, что ни разу не сказал Дымову имени Лукина, и ни разу не слышал, чтобы тот называл его при Дымове кто-нибудь ещё.

В присутственной камере уездного судьи было так тихо, что слышалось, как скрипит перо у писца за перегородкой. На подоконнике лежали спичечные коробки, штук двадцать, выстроенные в ряд, как солдаты. Судья Одинцов, не поднимая головы, сказал:

— Не трогайте. Там живые.

Гаврила Евграфович Одинцов, уездный судья, титулярный советник, сидел за столом, заваленным бумагами, которые лежали у него не как попало, а в строгом, ему одному понятном беспорядке. Ему было сорок семь лет. Худой, жёлтый, с густыми усами и глубоко сидящими глазами, он напоминал человека, которого дожидается врач и который знает, что врач скажет. Время от времени он закашливался в платок, долго, сухо, а потом с досадой смотрел на платок, как смотрит игрок на карту.

Кабинет судьи Одинцова

— Жуки, — пояснил он, не интересуясь, спросили ли его. — Чернотелки, жужелицы, один навозник. Я здесь с восемьдесят третьего года. Я человек, который приехал сюда служить закону там, где его меньше всего ждут, и обнаружил, что жуки здесь интереснее людей. Что у вас?

У Асылбека было дело, которое он принёс от аксакала Ермека, жителя аула Бектурсын. Аксакал стоял у двери, придерживая шапку обеими руками, и по тому, как он не садился, Асылбек понял, что говорить придётся долго.

Ермек, сын Бектурсына, рассказал: двенадцать лошадей

из его табуна три дня назад ушли в низину, на Клеверные участки, где всегда был общий выгон. Лошадей перехватили люди купца Дымова, загнали в загородку и потребовали с каждой головы по пять рублей за потраву сада. Сада, повторял Ермек, никакого сада нет, он ходит туда двадцать лет.

— Сад, — повторил Одинцов. Кашлять он перестал. — Где именно?

— Участки с сорок первого по сорок седьмой, — сказал Асылбек. — По владельческим записям.

Одинцов поднялся, прошёл к шкафу и вынул оттуда книгу, переплетённую в серую холстину. Он листал её не глядя, как листают собственную ладонь.

— «Сорок первый, — прочёл он вслух. — Фруктовый сад, шесть десятин, водою пользуется из Мало-Алматинского арыка по записи... Владелец: купец второй гильдии Дымов К. П.». Хм. «Сорок второй. Сад». «Сорок третий. Сад с запрудой». — Он посмотрел на Асылбека. — Вы видели эти сады?

— Нет.

— И я нет. Это странно, потому что я старожил, а вы человек наблюдательный. Едем.

Лошади в уездном управлении были казённые и печальные. Одинцову досталась рыжая кобыла с кротким взглядом, которую он звал Музой и ругал за то, что она не вдохновляла. Он ехал вполне прилично, но каждые полверсты закашливался, останавливал лошадь, пережидал, и Асылбек оста-

навливался с ним, делая вид, что любуется горами. Заилийский Алатау вставал над городом чистый, голубой, с белыми шапками: ни облачка, ни дымки, снег на вершинах лежал так резко, что смотреть на него было почти больно.

— Мырзабаев, — сказал Одинцов, когда кашель отпустил, — вы тот, о ком говорят, что умеет слушать?

— Кто говорит?

— Все, кто хочет, чтобы их выслушали. — Он прищурился. — Вы не обижайтесь. Я это говорю как похвалу. В Петербурге я слышал столько людей, которые умели говорить, что научился ценить тех, кто молчит. Вы казах, вы чиновник, вы женаты на татарке и с рассвета до заката держите пост. В вас столько границ, что вам, наверное, никто никогда не верил полностью. Это редкая удача для слушателя.

— Я не искал удачи.

— Её не ищут. Она случается. — Одинцов дёрнул поводья. — Меня сюда прислали за дело, о котором в Петербурге не любят вспоминать. Я его не стыжусь, но и не рассказываю. Скажу одно: служить закону в месте, где его меньше всего ждут, не хуже, чем в месте, где его не слушают.

Они переехали Малую Алматинку по мосту, мимо Татарской слободки, где у воды женщины стирали, а мальчишки гонялись за бродячей собакой, и выехали на ровное место. Клеверные участки открылись как стол: широкое, плоское поле, истоптанное, с редкой серой травой, расчерченное вешками, вбитыми в землю на равных расстояниях. Каждая

вешка была окрашена красным в верхней части, и на каждой чернела цифра. Сорок один. Сорок два. Сорок три.

Деревьев не было. Не было ни одного, ни молодого, ни старого, ни засохшего. Не было ни дома, ни навеса, ни колодезного сруба, ни даже загона для скота. В канаве, которая должна была быть арыком, лежала сухая земля, покрытая трещинками, как сухая кожа. Ветер гнал по ней клочья прошлогодней травы.

В дальнем углу, ближе к дороге на Верный, стояла жердевая загородка, и в ней, прижавшись друг к другу, нервно перебирали ногами двенадцать лошадей. Рядом сидели на корточках двое парней, а над ними, расставив ноги, стоял приказчик.

— Любезный, — сказал Одинцов, подъезжая. — Кто здесь старший?

Приказчик Евсей Куприянов, человек лет сорока, широкий, с плоским лицом и маленькими глазками, оглядел всадников и решил, что можно не снимать картуз.

— Я, ваше... Кто изволит спрашивать?

— Уездный судья Одинцов. Покажите сад.

— Чего изволите?

— Сад. — Одинцов слез с Музы, придерживая стремя; кашель ещё сидел в нём, и спина его на мгновение согнулась. Выпрямившись, он вынул из кармана книгу. — Участок сорок первый. Шесть десятин. Фруктовый. Вот эти вешки, как вам известно, ваша собственность. Где яблони?

— Посажены, ваше благородие.

— Куда?

— Не прижились.

— Все?

— Не пошли. Земля тут такая.

Одинцов повернулся к Асылбеку.

— Мырзабаев, будьте добры, сосчитайте мне деревья.

Асылбек обвёл взглядом поле. Он нашёл куст полыни. Он нашёл второй куст полыни. На сорок третьем участке было что-то вроде ёлочки, но, подойдя, он увидел, что это сухой прут, воткнутый в землю.

— Двух кустов полыни, — сказал он, — и одного прута.

— Сад из полыни, — сказал Одинцов. — Любопытно. И на каком же поливе, любезный, был этот сад?

— На арычном.

— Арык сух.

— Весной был.

— Весной, — повторил Одинцов. — Весной сады поливают. В мае их не поливают, в мае они цветут. А где они цвели?

Приказчик промолчал. Парни у загородки перестали жевать соломинки.

— Так, — сказал судья. — Лошади принадлежат Ермеку, сыну Бектурсына. Потравы нет, потому что травить нечего. Штраф ничем не обеспечен. Я беру этих лошадей под охрану суда до выяснения. Откройте.

— Не положено без Ксенофонта Платоновича.

— Положено, любезный. Вы сейчас присвоили то, что принадлежит человеку, и то, что принадлежит суду. Это называется иначе, чем вам хочется. Откройте.

Глаза приказчика обежали поле, дорогу, лошадей и остановились на Асылбеке. Он выдохнул, как выдыхает человек, который понял, что проиграл не тому, кому собирался.

— Откройте, — повторил Одинцов мягче.

Парни отвязали жерди. Лошади, почуяв свободу, двинулись нервным, неуверенным шагом, как ходят животные, которым три дня не давали пить. Ермек подбежал, быстро заговорил, хватая за гриву то одну, то другую, и Асылбек понял, что сейчас в степи слышнее всего этот негромкий старческий голос, обращённый не к людям.

— А вы, ваше благородие Мырзабаев, — вполголоса сказал приказчик, подойдя ближе, — тот, что с землемером водится?

— Я чиновник.

— Ксенофонт Платонович просили передать. — Он говорил равнодушно, без нажима, как передают поклон. — Лукину ночью тут ходить не к чему. Собаки у нас злые. Он человек учёный, а собаки неграмотные.

Одинцов, стоявший в трёх шагах, повернул голову.

— Кто такой Лукин?

— Землемер, — сказал Асылбек.

Одинцов ничего не ответил. Он прошёл к краю участка, где в земле торчала толстая вешка с номером «9» и рядом,

на двух жердях, была перекинута доска. Под доской чернела дыра колодца. Судья подобрал камешек, подержал на ладони и бросил вниз. Они стояли и слушали. Звука не было так долго, что Асылбек успел подумать, что камень улетел куда-то дальше земли.

Потом снизу донёсся короткий, сухой стук.

— Сухо, — сказал Одинцов. — Глубоко и сухо. Хороший колодец. Лучше многих, что я видел. Только не для воды.

На краю доски, на сером дереве, сидел чёрный блестящий жук с вогнутой спиной. Одинцов, не торопясь, достал из кармана спичечный коробок, высыпал из него несколько спичек, подставил жуку палец, и жук доверчиво взобрался.

Чернотелка

— Чернотелка, — сказал он. — Любят сухое. Вы заметили, Мырзабаев, что в этом месте всё любит сухое?

Обратно они ехали шагом, и Одинцов закашлялся ещё два раза. Ермек вёл свой табун далеко впереди, обернувшись один раз, чтобы поклониться, и больше не оборачивался.

— Вы ничего не хотите рассказать мне про землемера? — спросил судья, когда впереди показались тополя слободки. — Я человек, которого интересуют бумаги, а не люди. Но когда бумаги начинают угрожать людям, это уже мой участок.

Асылбек посмотрел на горы. В кармане его вицмундира лежали четыре листа, свёрнутые вчетверо. Он вдруг ощутил их вес, как ощущают гирьки на чашке весов.

— Пока рассказывать нечего, — сказал он.

— Пока, — повторил Одинцов, и по уголкам его рта прошло что-то вроде улыбки. — Что ж. Я подожду. Я двадцать лет жду того, кто скажет мне «пока».

Глава пятая. Два золотника

Понедельник, 18 мая, к вечеру. За десять дней

Зарифа не любила торговаться при муже. При муже торг

превращался в разговор о чинах: купец прикидывал, сколько стоит расположение чиновника, и цена то падала до смешного, то вдруг взлетала от обиды. Поэтому на Гостиный двор она ходила одна, к вечеру, когда солнце уже не било в глаза, а лавки ещё не закрывались.

Рамазан менял базар. Днём он дремал, натянув на себя полотнища навесов, как больной одеяло, а за час до азана просыпался разом: люди, весь день державшиеся на одной воде, вдруг вспоминали, что у них есть желудки, дети и деньги. Торговали бойко и громко, но торговались меньше обычного, потому что у голодного нет сил на спор, а у сытого нет охоты.

Ряд тканей стоял в глубине, под длинным навесом, где пахло шерстью, красителем и сухой мятой, которой перекладывали шёлк от моли. Здесь сидели русские приказчики с аршинами на плече, дунгане в чёрных шапочках, сарты с ситцем из Коканда, а в самом конце, у столба, на разостланной кошме, Касым-бай Ниязов.

Он был таранчинец, из Кульджи, высокий и тонкий, как жердь, с коротко подстриженной чёрной бородой и руками, которые никогда не лежали спокойно: они разворачивали, встряхивали, подбрасывали на свет, и ткань под ними оживала, как рыба. По-русски он говорил чище многих чиновников, по-татарски с певучим уйгурским хвостом, по-казахски дерзко и весело, а торговаться умел на пяти языках, причём на каждом иначе. На шестом, китайском, он ругался, когда

считал, что его не слышат.

— Зарифа-ханум! — Он поднялся навстречу, не вставая с колен, как умеют только торговцы и танцовщики. — Рамазан-мубарак! Вы пришли в самый плохой час. Все голодные, все злые, всё дорого. Приходите после байрама.

— После байрама мне будет поздно, Касым-бай. Мне нужно к байраму.

— Тогда скажите, что вам нужно, и я скажу, что у меня нет.

Она засмеялась. Это была их старая игра: он отказывал, она настаивала, и каждый получал удовольствие от собственной роли. Зарифа присела на край кошмы и сказала, что хочет шёлк для сына: на кафтанчик, который Темирбек наденет в день праздника. Не тот, что для всех. Тот, что будет помниться.

Касым-бай посмотрел на неё внимательно. Потом повернулся к тюку, лежавшему в тени, развязал бечёвку и вытянул на свет ткань, от которой у Зарифы перехватило дыхание. Это был адрас, плотный, глубокий, зелёный, как вода в тени, и по зелёному, косыми язычками, шла золотая прожилка, как будто кто-то пропустил сквозь воду солнечный луч.

— Из Кашгара, — сказал Касым. — Мне привезли два куска. Один купил ваш губернаторский казначей для жены, а второй я держу для человека, который понимает.

— Сколько?

Он назвал. Зарифа не изменилась в лице. Асылбек полу-

чал жалованье, на которое можно было жить честно, но не широко, и три рубля за аршин были для их дома суммой, у которой есть вкус и запах и которую нельзя произносить вслух.

— Вы понимаете, что это больше, чем весь наш кафтан? — сказала она по-татарски.

— Я понимаю, что это меньше, чем счастье вашего сына, — ответил он по-татарски же. — Но счастье не продаётся на аршины. Приходите в конце месяца. Мы поговорим.

Она хотела возразить, но в этот момент по ряду прошло движение, как бывает, когда в стадо входит чужой.

Высокий человек в сером сюртуке, пригибаясь под жердями навеса, шёл между лавками, и Зарифа узнала его раньше, чем увидела лицо: она знала эту сутулость по рассказам мужа. На плече у него висел кожаный футляр, на носу сидело золотое пенсне, шнурок от которого был завязан на затылке грубым узлом, потому что настоящий давно истрепался.

— Землемер, — сказал Касым негромко, без особого выражения. — Земля у нас считана, теперь считают воздух.

Лукин остановился у соседней лавки, потом у следующей, вежливо приподнял картуз перед хозяйкой, купил ей ни с того ни с сего моток красных ниток, извинился за то, что не по потребности, и наконец дошёл до столба. Увидел Зарифу. Покраснел. Поклонился ей, как кланяются чужой жене: на полтора вершка ниже, чем нужно, чтобы не показаться дерзким.

— Простите, — сказал он. — Мне чёрного шёлкового шнурка. Для очков. Я их ношу уже шестой год и шестой год же собираюсь купить новый.

— Аршин, — сказал Касым. — Полтора. Фунт, да? Взвесим?

— Шнурка? — не понял Лукин.

— Шнурок продаётся на вес, если он хорошего качества. — Касым достал из ниши в тюках весы, небольшие, медные, с двумя чашками. — Это не китайская дрянь, это скрученный шёлк. Он тяжелее, чем кажется.

— Конечно.

Касым взял из мешочка гирю, отполированную, с вытертой цифрой, и поставил на чашку. Отрезал шнурок, положил на вторую. Чашки качнулись, замерли, и тут Лукин, который всё это время смотрел не на шнурок, а на гирьку, сказал виноватым голосом:

— Простите... можно?

— Что можно?

— Положить мой золотник.

Зарифа не поняла, о чём он. Касым-бай тоже, и в его лице на мгновение появилось выражение человека, которому вежливо предлагают снять штаны на людях.

— Ваш... что?

— Золотник. Образцовый. Поверенный в Казённой палате, у меня и бумага есть. — Лукин расстегнул футляр и вынул из бархатного гнёздышка крошечную латунную гирьку

величиной с ноготь. — Это глупо. Я всегда таскаю с собой. Привычка: измеряя, надо знать, чем измеряешь. У вас на гире цифра стёрта. Я не говорю, что неправильно, я только хотел бы узнать.

Вокруг уже собирались. Торговцы соседних лавок оставили свои дела: чужая ссора в Рамазан была редким развлечением, почти благословением. Приказчик-русский с аршином на плече замер, дунганин-ткач высунулся из-за тюка, хозяйка красных ниток прижала моток к груди.

Касым сидел неподвижно. Потом молча сдвинул с чашки свою гирю и поставил золотник Лукина. Весы дрогнули и пошли вниз с той стороны, где лежал шнурок. Лукин положил на пустую чашку то, что называлось у Касыма «фунт»: гирю из сундучка, с вытертой цифрой.

Фунт подскочил вверх.

Лукин смотрел на весы долго, и лицо его постепенно становилось несчастным.

— Двух золотников не хватает, — сказал он. — Совсем немного. Это может быть сырость, гиря от этого теряет, и... Нет, не теряет. Может быть, её подпилили при починке. Или раньше. Я не обвиняю, — прибавил он торопливо, — я только хотел узнать.

— Узнали, — сказал Касым.

Он сказал это очень тихо. Зарифа видела, как у него побелели ногти на коленях. Вокруг стало так тихо, что слышно было, как в соседнем ряду кто-то колотит молотком по

гвоздю.

— Эту гирю мне оставил дед, — продолжал Касым ровно. — Он ходил с ней из Кульджи до Ташкента, и обратно, и снова. Он держал её в рукаве. Я продаю по ней тридцать лет. Никто ни разу не сказал, что ему не хватило.

— Я не... — начал Лукин.

— Землемер, — сказал Касым. Голос его поднялся, и в нём впервые прозвучала не обида, а что-то более серьёзное. — Меряй землю. Меряй воду. Это твоё дело, тебе за него платят. А людей не меряй. Человек не участок. У человека нет границ, которые можно вбить колышками.

Он встал. Кошма скользнула под его ногами. Он был выше Лукина на полголовы, и тот, как всегда, чуть втянул плечи, как будто и тут перед ним был слишком низкий потолок.

— Простите, — сказал Лукин в четвёртый раз. — Я не хотел вас обидеть. Я вижу, что обидел. Я... Мне неловко.

— Вам неловко, а мне теперь на торгу с этим жить.

— Прохор Селиверстович, — сказала вдруг Зарифа по-русски, и сама удивилась, что заговорила. — Вы правы. А Касым-бай прав. Так бывает.

Лукин повернул к ней голову. В его взгляде была такая беззащитная благодарность, что ей стало за него стыдно, как стыдно за ребёнка, которого хвалят слишком громко.

— Правильно только, — прибавила она тише, — чтобы вы сказали это ему потом, а не при всех.

Лукин помолчал. Потом кивнул, убрал золотник в фу-

тляр, взял со столба свой шнурок, который Касым ему так и не отдал, потому что тот лежал на весах, и снова поклонился, ещё ниже:

— Благодарю вас.

Он ушёл, пригибаясь, как всегда, и ряд постепенно разошёлся. Касым сел обратно, подобрал кошму, налил из чайника в пиалу, пролив на колено. Рамазан: он не пил, а просто держал пиалу в руках, как держат тёплое.

— Видели? — спросил он.

— Видела.

— Двух золотников не хватает, — повторил он в сторону. — Тридцать лет. Дед сорок. А хватит одного, чтобы сказать, что мы всю жизнь воровали.

— Он не сказал этого.

— Он не сказал. Это хуже. — Он поднял на неё глаза. Они были чёрные, живые, обиженные. — Он хороший человек. Я знаю. Хуже нет, чем хороший человек, который прав.

Зарифа вздохнула. Она хотела сказать что-то про совесть, про то, что нужно по-честному выправить гирю, про то, что Асылбек как раз по службе поверяет весы и ему приходится штрафовать людей, которых он любит. Но не сказала. Вместо этого спросила про адрас.

— Адрас, — сказал Касым, помрачнев ещё больше. — Какой адрас... Берите.

— Вы же сказали, в конце месяца.

— Я сказал. — Он махнул рукой. — Сегодня мне стыд-

но, и это дешевле. Берите на половину, на два с полтиной, и больше мне не говорите «Касым-бай», я сегодня не Касым-бай, я человек с лёгким фунтом.

Он отмерил, но не по своей гире, а, подумав, по обычному аршину, с запасом, с лишним вершком, который прибавил без слов. Свернул в бумагу, перевязал.

— Не за вас, — сказал он. — Вы тут ни при чём. Просто нельзя, чтобы в Рамазан кто-то остался при своей злости. Она потом не проходит.

— А у вас проходит?

— У меня? — Он усмехнулся, и усмешка сразу стала прежней, хитрой, невеселой. — У меня пройдёт, когда землемер поймёт, что мерить надо вовремя. Не раньше.

Азан начался в тот момент, когда она отходила. Ряд замолчал разом, как лампа, в которую дунули, и в этой тишине над крышами поплыл тонкий, ровный голос, и Зарифа прибавила шагу, потому что дома ждал суп, остывающий уже второй час.

Она шла мимо повозок, которые каждый вечер выстраивались у задней стены Гостиного двора. Красная повозка Касыма стояла на привычном месте, с поднятым верхом, и рядом с ней, в сумерках, она увидела двух людей. Один был Касым, перегнувшийся через борт; второй, низенький, в китайской войлочной шапке, с лицом, которого не разобрать, передавал ему что-то в узелке, не больше буханки. Касым взял, не развязывая. Потом увидел Зарифу и прикрыл узел

полой халата, быстро, как закрывают лицо ребёнка от дурного глаза.

Она сделала вид, что ничего не заметила. Она была женой чиновника, и это научило её видеть многое и не знать ничего.

Лукина она нагнала у колодца на углу. Он сидел на краю сруба и, поднеся шнурок к самому носу, что-то быстро считал. Рядом на земле лежала ссыпанная горка медных монет.

— Простите, — сказал он, увидев её. — Я забыл заплатить. Я... Мне надо вернуть.

— Не надо, — сказала Зарифа. — Он вам подарил.

— Подарил? — Лукин нахмурился. — После... Нет, я должен заплатить.

— Если вы вернётесь сейчас, вы его ударите второй раз.

Он замер. Она видела, как слова доходят до него медленно, через слой цифр, и как у него на лице появляется то особое выражение человека, который не умеет прощать себя, но очень хочет научиться понимать.

— Он обещал, что шнурок не порвётся, — сказал Лукин, помолчав. — Сказал: крепкий. Порвётся, только если кто-нибудь очень захочет.

Он улыбнулся. Это была первая за день улыбка, которая сошла с лица не сразу. Потом он сделал то, чего она не ожидала: поклонился ей уже не как чужой жене, а как человеку, которому благодарен за совет. Взял футляр, повесил его на плечо и пошёл вниз по улице, под тополя, считая шаги.

Зарифа смотрела ему вслед, пока он не скрылся. Дома, за

ужином, она рассказала мужу про весы и про гирю. Асылбек слушал, улыбаясь. Сказал, что Касым-бай человек честный, просто обидчивый; что за такого он бы поручился. И что Лукин, наверное, на самом деле очень одинок, если у него гири в кармане и ему приходится мерить даже людей, которые к нему добры.

— Как ты думаешь, — спросила Зарифа, — они помирятся?

— Конечно.

Он не знал тогда, что в одной из этих двух фраз он ошибся.

Глава шестая. Колодцы

Вторник, 19 мая. За девять дней

Лукин встал в четыре, как вставал всегда, потому что ночью вода спокойнее, а утром честнее. Он умылся из таза, который Хадича-апа ставила ему на крыльцо с вечера, съел кусок хлеба у себя в комнате, с закрытой дверью, потому что не мог есть при человеке, который постился, и вышел во двор

считать звёзды, пока они не погасли.

На крыше соседнего дома уже кто-то сидел. Лукин поднялся к нему по приставной лестнице, пригибаясь, и увидел мальчика лет двенадцати, который смотрел на дорогу к Или.

— Что там?

— Купец Дымов уходит, — сказал мальчик. — В Кульджу. Каждый год ходит. Говорят, весной шёлк дешевле.

Караван тянулся по серой дороге, тонкий и длинный, как нить. Впереди ехал на коне человек в красной рубахе, и даже на таком расстоянии было ясно, что это он: так сидят в седле люди, привыкшие, что на них смотрят. Лукин по привычке сосчитал вьюки. Четырнадцать верблюдов и три лошади. Он не мог иначе. Всю жизнь он считал всё, что движется: шаги, подводы, карты в чужих руках, и это ему не мешало.

До полудня он мерил колодцы. Слободка просыпалась медленно, и он ходил между дворами с верёвкой, размеченной узелками, с гирькой, которая тихо стукала о венец колодца, и с медным измерителем на шнуре. Старик Габдулла, у которого колодец ушёл, провожал его молча. У колодца мельника Салиха к нему присоединились двое мальчишек, сыновья Мансура-хаджи, и стали считать узлы вслух: «Три... четыре... пять с половиной». У них это получалось быстрее.

У ворот пекарни кто-то хмыкнул ему вслед:

— Землемер-землетряс!

Лукин остановился.

— Это почти рифма, — сказал он вежливо. — Но неточ-

ная.

Мальчишки захохотали. Пекарь вышел, вытирая руки о передник, и, смутившись, предложил горячую лепёшку; Лукин поблагодарил и не взял, объяснив, что пост. Он не был мусульманином, но привык не есть при тех, кто не ест. Пекарь посмотрел на него новыми глазами.

В полдень, у больничного колодца, он встретил доктора Вилле.

Адольф Янович Вилле был маленький, круглый, с рыжими баками и такой скептической складкой у рта, что любая похвала от него звучала как диагноз. Он вышел из госпиталя с зонтом от солнца и остановился, наблюдая за тем, как Лукин опускает гирьку в колодец.

— Глубже на аршин, чем в прошлом году, — сказал он. — Я знаю. Ночной сторож мерил.

— А вы ему верите?

— Я никому не верю. Я врач. — Вилле сложил зонт. — Что вы из этого заключаете, коллега?

— Что-то под землёй происходит.

— Любопытно. У меня трое солдат жалуются, что по ночам у них в ушах стучит. Знаете, что я прописал? Меньше пить. Они сказали, что не пили. — Он поджал губы. — Меня это огорчило.

Лукин смотрел на него, не понимая, шутит тот или нет.

— Я человек науки и вам не верю, — продолжал Вилле. — Но если вы правы, мне придётся лечить весь город, а я не

люблю лечить город, это неблагодарная работа. Вот хина, у вас лихорадка начинается, у вас руки дрожат. Принимайте по порошку. И не огорчайтесь: если вы правы, виноваты не вы.

Это была первая за последние недели фраза, от которой у Лукина что-то разжалось внутри. Он хотел сказать «спасибо», но Вилле уже шёл прочь, размахивая зонтом, как человек, который раздражён, что его растрогали.

Во второй половине дня он пошёл в Малую станицу, за реку. Там, у колодца во дворе казачьей вдовы, он увидел мальчика лет девяти, который сидел на корточках и молча смотрел на его верёвку. Мальчик был немой от рождения, Лукин понял это по тому, как вдова, подойдя, не окликнула его, а коснулась плеча.

— Сенька не любит, когда мерят, — сказала она виновато. — Он чует.

Мальчик встал, медленно приложил ладонь к земле и посмотрел на Лукина. Лицо у него было спокойное, как бывает у людей, не умеющих лгать. Потом он покачал головой: нет. Потом показал на землю, потом на себя, потом на крышу дома, потом махнул рукой: прочь, прочь отсюда.

— Он хочет, чтобы вы ушли, — сказала вдова. — Не обижайтесь.

Лукин положил в ладонь мальчика пятак и ушёл, не оборачиваясь. Вернувшись на берег, он вдруг заметил, что руки у него действительно дрожат, и не от лихорадки.

Вечером он сел писать. Лист ложился ровно, пенсне не слезало с носа, и это был хороший знак. «Его высокоблагородию господину ревизору Степного генерал-губернатора, находящемуся, по слухам, в проезде в Верный в начале июня». Он написал о воде, о колодцах, о числах, о водяных записях. О последнем он написал коротко и очень осторожно: «Позволяю себе обратить высокое внимание на расхождения между распределением воды по записям и действительным расходом реки». Перечитал, заклеил, надписал адрес и положил на стол рядом с запиской, которую Хадича-апа принесла ему вместе с чаем.

На записке было несколько слов, написанных каллиграфически, твёрдым писарским почерком: «Подожди. Я помогу».

Он улыбнулся, прочтя её. Завтра он скажет Игнатию Лаврентьевичу, что хотел бы отправить это письмо в Омск, но готов подождать до понедельника, если тот выслушает. Он так и не научился не верить людям, умеющим слушать.

Глава седьмая. Маятник

Среда, 20 мая, утро. За восемь дней

В гимназию Лукин пришёл в половине восьмого, когда сторож ещё подметал крыльцо, а директор не успел снять калоши. Он знал, что в такой час учителя бывают самими собой: не обязанными, не строгими, не обременёнными чужим мнением. Он знал также, что хуже всего человек ведёт себя

в те минуты, когда у него есть публика, и лучше всего в те, когда есть только дело.

Модест Яковлевич Орловский, учитель физики и математики, встретил его в подвале, где помещался кабинет приборов: сводчатом, с толстыми стенами, с оконцами под самым потолком, в которые вместо света вливался один пыльный луч. Он был маленький, лысый, с гладким блестящим черепом, в рубашке с закатанными рукавами и жилете, застёгнутом не на те пуговицы. Очки сидели у него на лбу, и по этому признаку Лукин всякий раз понимал, что учитель сейчас думает.

— Землемер! — сказал Орловский. — Мне говорили, вы приходите раз в год, чтобы проверить мой нивелир, и каждый раз находите, что я его неправильно хожу чистить тряпкой. Это правда?

— Это шесть лет назад.

— Шесть лет, а я всё помню. Я злопамятен, как все люди науки. Чем могу?

Лукин не стал вступать в разговор. Он поставил футляр на стол, достал оттуда тетрадь, раскрыл на странице с рисунком и сказал просто:

— Мне нужен сейсмоскоп. Я знаю, что у вас нет. Я хотел бы, чтобы он был.

Орловский снял очки со лба, протёр их о жилет и надел на нос. Посмотрел на рисунок. Рисунок был крошечный, понятный даже ребёнку: подставка, на ней кольцо, на кольце

шарик.

— Это Чекки, — сказал он наконец. — В Италии. Вы читали?

— В переводе, в «Горном журнале».

— И думаете, что мы повторим на стене моей кладовки то, что итальянцы делают в обсерваториях, на деньги целого министерства.

— Я думаю, что шарик не знает, на чьи деньги он падает.

Орловский помолчал. Затем вдруг засмеялся, громко, с хрипотцой, как смеются люди, давно не получавшие настоящего вызова.

— Ну, хорошо. Хорошо! У меня есть картечь. Есть латунное кольцо от старого барометра. Есть тарелка, в которую можно насыпать мелкого песка. Есть часы, которые я купил за рубль у одного пьяного поручика и до сих пор не знаю, зачем. Только объясните мне, голубчик, на что вы рассчитываете? Я ведь не в вашем отношении: я не жду землетрясения. Я просто люблю собирать приборы.

— Это одно и то же, — сказал Лукин.

— Что?

— Мы оба собираем то, что пригодится, когда нас никто не будет слушать.

Они проработали два часа. Орловский ходил по кабинету, ворчал, ронял инструменты и каждые пять минут сообщал, что этот прибор никуда не годится, а потом сам же придумывал, как его улучшить. Шарик из картечи поставили на

кольцо, чтобы малейший толчок сбрасывал его вниз; кольцо укрепили на тонкой латунной стойке, а стойку, под нажимом Лукина, поставили на подвал, на фундамент, потому что только там земля передаёт дрожь без искажений. Под кольцом насыпали ровный слой сухого песка: туда шарик упадёт и оставит след в том направлении, откуда пришёл толчок. А рядом на кронштейне установили эти самые рублёвые часы с коротким рычагом, который должен был, получив удар падающей картечи, остановить маятник.

— Время и направление, — сказал Лукин, когда всё было готово. — Оно запишется само.

— И первое, и второе, — согласился Орловский. — Вы знаете, что вы делаете, Прохор Селиверстович? Вы заставляете природу вести протокол. Она этого не любит.

Он завёл часы, подвёл их по карманному хронометру, который сверил накануне с телеграфом, и подпёр дверцу кладовки стулом: чтобы никто из гимназистов не вздумал проверять, что там внутри.

— Если ваша гора пошутит, — сказал он, — у меня будет первая в Семиречье научная запись землетрясения. А ещё выговор от директора за испорченные часы. Я готов. Приятно получить два результата за один опыт.

Лукин стоял над прибором и смотрел, как маятник качается, чуть-чуть, мерно, тихо. Его длинные пальцы, которые всегда куда-то тянулись, трогали пенсне. Тик. Тик. Тик.

— Вы боитесь, — заметил Орловский.

— Нет.

— Боитесь. Я учитель, я знаю, как выглядят люди, которые боятся задачи. Они становятся очень вежливыми. — Он отошёл к окну. — Вы думаете, что сможете спасти город?

— Нет.

— Тогда зачем вы это делаете?

Лукин долго не отвечал. Потом сказал:

— Затем, чтобы потом не говорили, что никто ничего не заметил. Что ушла вода, выли собаки, птицы лезли в дома, и ни одна живая душа не записала. Когда случается большое несчастье, самое страшное, Модест Яковлевич, не то, что оно случилось. А то, что потом все говорят: никто не мог знать. Я не хочу, чтобы это сказали про нас. Я хочу, чтобы было записано. Чтобы мои слова лежали где-нибудь на столе, под стеклом, и чтобы любой, кто придёт после нас, мог прочесть: знали. Просто не успели убедить.

В подвале было тихо. Орловский снял очки, протёр, снова надел.

— Знаете, что самое неприятное? — сказал он. — Что я вам верю. Не вашей горе. Вам. Вы человек, который не умеет врать, а это очень неудобное свойство в нашей губернии. Я бы на вашем месте пошёл к начальству.

— Я ходил.

— И что?

— Мне сказали: подождите.

— Ага. — Орловский кивнул. — «Подождите» — самое

страшное слово в русской канцелярии. Страшнее, чем «нет». «Нет» можно оспорить, а «подождите» нельзя: оно ничего не утверждает.

— Один человек обещал помочь, — сказал Лукин. — Он умеет слушать.

— Умеющие слушать, — сказал Орловский, — вымирающий вид. Они, как зубры, под охраной закона и ни на что не годны. Берегите его. — Он посмотрел на часы. — Идите. У вас без четверти одиннадцать, а мне нужно показывать третьему классу, как падает яблоко.

Лукин взял футляр. На пороге остановился.

— Модест Яковлевич. Если что-нибудь случится с шариком... Когда случится... Вы запишете, как следует?

— Запишу, — сказал Орловский. — Даже если придётся записывать на спине у директора.

Лукин улыбнулся, и, уходя, ударился головой о низкую арку у входа, и вернулся, и снова вышел, и на этот раз пригнулся. Орловский смотрел ему вслед. Потом присел на корточки перед кладовкой и ещё раз заглянул в щель: латунное кольцо, серый шарик картечи, ровный песок, часы. Тик. Тик. Тик.

— Ну, — сказал он вслух. — Не подведи.

Часы шли. Шарик стоял. За стеной, в классе, дети начали шуметь, и ничего нельзя было услышать из того, что говорила земля.

Глава восьмая. Ужин у Игнатия Лаврентьевича

Среда, 20 мая. За восемь дней

Лукин пришёл в присутствие в одиннадцать, и Асылбек видел, как он вошёл в кабинет Крутицкого, закрыл за собой дверь и пробыл там сорок минут. Он считал минуты не нарочно. Когда дверь открылась, Лукин вышел с лицом чело-

века, у которого сняли с плеч мешок, и в приёмной остановился, чтобы поправить пенсне. Он поклонился Асылбеку издали, почти радостно.

Крутицкий появился следом.

— Он обещал подождать, — сказал Игнатий Лаврентьевич, останавливаясь у стола Асылбека. — Просил отправить какие-то бумаги в Омск, я уговорил не торопиться. Человек разумный, когда его слушают. — Он покачал головой с видом отца, у которого удачно прошла трудная беседа с сыном. — Я поговорю с ним ещё. Не смотри так. Он тебя тревожит, я понимаю. Но тревога пройдёт.

На его столе, по ту сторону полуоткрытой двери, лежал конверт с печатью областного правления, но без адреса. Асылбек отметил его, как отмечают привычное: ровно, край к краю, на уголке стола.

Вечером он пошёл к Крутицким. Он ждал этого вечера с утра и стыдился этого, потому что ждал не ужина, а того, что обычно приходило с ним: ощущения, что кто-то на свете считает его достойным внимания.

Дом Игнатия Лаврентьевича стоял на тихой улице, за тополями, и был таким, каким должен быть дом человека, который тридцать лет прожил по инструкции: две комнаты, чисто, пусто, ровно. В гостиной висел портрет императора, на этажерке стояла модель моста, вырезанная из пробкового дерева, которую хозяин сделал сам, а над диваном, в рамке, был приколот к чёрному бархату старый золотой эполет.

Варвара Андреевна встретила гостя у порога. Ей было сорок пять, она была невысока и очень прямая, с серыми, чуть выпуклыми глазами, которые видели всё и ничего не комментировали. Она накрыла стол после захода солнца, так, чтобы гостю не пришлось отказываться, и Асылбек, разговевшись у себя дома, сидел теперь не от голода, а от вежливости.

— Я испекла пирог с курагой, — сказала она, — вашей жене рецепт пришлю. Говорят, у вас она умеет.

— Она умеет всё, — сказал Асылбек. — Просто не показывает.

— Как умные люди, — ответил Крутицкий, и Варвара Андреевна улыбнулась уголком рта.

После ужина они остались вдвоём. Игнатий Лаврентьевич вынул из жилетного кармана серебряные часы, тяжёлые, с гравировкой на крышке, и положил их перед гостем.

— Отцовские. Он у меня был унтер-офицер, часы получил за Севастополь. Я думал сыну оставить, да нет сына. — Он коротко усмехнулся. — Возьмите. У вас сын. Пусть идут.

— Игнатий Лаврентьевич...

— Ничего не говорите. Вы приехали к нам неопытным мальчишкой, с рекомендацией, которой никто не верил. Я это помню. Я тоже был таким. — Он помолчал. — Скажу вам одну вещь, которой меня научила моя служба. Я шесть лет был в инженерной команде, в Туркестане, в семьдесят шестом. Сапёр учится одному: делать тихо и аккуратно. Всё

остальное суета. Вот почему я не люблю шума вокруг Лукина. Шум только мешает.

— Вы думаете, он прав насчёт воды?

— Я думаю, — сказал Крутицкий, — что вода пойдёт туда, куда ей положено. А он ищет виноватых там, где просто плохо проложены канавы. — Он взял со стола стакан, повернул его так, чтобы совпали края с краем скатерти. — Я съезжу с ним на Клеверные, посмотрю сам. На днях. В четверг, пожалуй, или в пятницу, не знаю, как городничий. Посмотрю и успокою его.

Асылбек вышел из дома с часами в кармане и чувством, что весь мир стал на полградуса теплее. На пороге Варвара Андреевна остановила его, коснувшись рукава.

— Он вас любит, — сказала она негромко. — Он вас боится потерять. Это разные вещи, вы знаете?

Он не знал, что ответить, и поклонился. На улице пахло полынью и сырой землёй, и из слободки доносилось пение, ровное, длинное, ночное. Ему показалось, что в воздухе что-то изменилось, но что именно, он не смог бы сказать. Потом понял: ветер, который накануне весь день тянул с гор, стих совсем.

Глава девятая. Четверг

Четверг, 21 мая. За семь дней

Лукин проснулся в то мгновение, когда рассвет ещё не начался, но уже обещал начаться: комната стала серой, и на подоконнике проступил контур кошки. Он лежал, не двигаясь, и слушал.

Не то чтобы он слышал что-то особенное. В слободке пели

петухи, у мечети переговаривались люди, кто-то лил воду из ведра. Но под этим, ниже, глубже, в самой кровати, в ножках стола, в стакане с остывшей водой он чувствовал то, чему не нашёл бы названия: постоянное мелкое дрожание, как будто весь город стоял на чём-то живом, которое тихо дышит.

Он встал, засветил лампу и записал в тетрадь: «21 мая, 4 ч. 10 м. Дрожание стакана. Воды в стакане — край вровень, рябь мелкая, правильная».

— Ты сегодня какой-то лёгкий, Прохор-эфенди, — сказала Хадича-апа, когда он вышел на крыльцо. — Что-то хорошее?

— Я договорился с человеком, — ответил он. — Он умеет слушать.

— Такие бывают, — подтвердила она. — Один на сто. Береги.

День он провёл так, как проводят его люди, которые ждут вечера: работал плохо, смотрел на часы, возвращался к одним и тем же расчётам. К полудню у него появилась привычка выходить на крыльцо и смотреть на горы. Горы стояли синие, чистые, без единого облака, и это его почему-то раздражало.

После заката Хадича-апа принесла ему поднос: суп, лепёшки, кусок пирога. Он поел быстро и вкусно, чего с ним не случалось давно, и когда допивал чай, от мечети поплыли первые такты ночной молитвы.

Он собрался без суеты. Положил в футляр, на дно, письмо

ревизору и свёрнутые вчетверо копии записки, а сверху сложил нивелир, завёрнутый в тряпицу. Тетрадь сунул во внутренний карман. Взял фонарь. Хадича-апа смотрела на него из кухни и не спрашивала, куда он идёт, потому что знала: когда он собирается с таким лицом, спрашивать бесполезно.

На пороге он обернулся.

— Хадича-апа, — сказал он. — Спасибо за всё.

— Иди, — ответила она. — Дверь не запираю.

Он вышел за калитку и пошёл по улице, пригибаясь под ветками. Он считал шаги, как считал всегда, и дошёл до мечети на сто четырнадцатом. Мимо проходили запоздавшие к молитве, он здоровался, ему отвечали «Здравствуй, землемер». Один кто-то усмехнулся. Он не стал считать, кто.

Клеверные участки лежали в темноте, как большое тёмное блюдо, и над ними стояло немногочисленное небо. Он вышел на тропу, ведущую к девятому колодцу, и вдруг остановился. В этом месте, в десяти саженях от колодца, возле Дымовского склада, который строился и стоял на лесах, как скелет на ярмарке, земля отзывалась на шаг иначе, чем везде. Он ощутил это подошвами: не звук, а тихое эхо под землёй, как будто кто-то там, внизу, повторял его шаги.

Он присел и приложил ладонь к земле.

Гул был тихий, почти ласковый. Он шёл издалека и казался не страшным, а глубоким, как стон спящего.

«Двадцать один час сорок минут, — записал Лукин в уме. — Гул устойчивый, направление с юга-востока, источник не

определён».

В эту минуту он услышал шаги.

Они приближались от слободки, неторопливые, ровные, как шаги человека, привыкшего ходить долго и никуда не торопиться. Показался огонёк. Лукин поднялся, отряхнул ладонь о колено и поднёс свой фонарь, чтобы осветить лицо подходившего. Лицо было знакомое. Оно улыбалось.

— Вы? — сказал Лукин. — Хорошо, что вы пришли. Я хотел показать вам ещё одну цифру. Она мне самому не нравится...

Глава десятая. Хозяйка

Пятница, 22 мая. За шесть дней

Хадича-апа пришла к дому Асылбека до рассвета. Он услышал её ещё во сне: что-то шуршало за калиткой, как шуршит бумага или платок. Он вышел на крыльцо с лампой и увидел её, неподвижную, с распущенными по плечам седыми косами, закутанную в чёрный платок.

— Не ночевал, — сказала она.

— Кто?

— Прохор-эфенди. Постель нетронута. Фонарь взял, нивелир взял, футляр взял. Сказал: спасибо за всё. Я думала, на ночь пошёл мерить. Он ночью часто ходит. — Голос у неё дрогнул. — Но я встала в четыре, а он не пришёл. Он приходит всегда к двум, к трём. Он человек точный.

«Я не опаздываю и не пропадаю», — вспомнил Асылбек и почувствовал, как у него холодеют руки.

Он оделся быстро. Зарифа, проснувшись, посмотрела на него и на Хадичу-апу, не спросила, а только подала ему шапку и тихо сказала: «Иди». Хадича-апа вошла в дом, села на сундук и заплакала, не вытирая слёз, как плачут люди, которые не привыкли просить утешения.

К семи Асылбек был у судьи. Одинцов жил над судебной камерой, в двух комнатах, где повсюду стояли спичечные коробки, и вышел к нему в халате, с мокрыми от умывания усами.

— Вчера, — сказал он, выслушав, — вы не рассказали мне про землемера. Теперь расскажите.

Асылбек рассказал. Про записку, про воду, про участки с сорок первого по сорок седьмой, про колодец, про то, что Лукин боялся не землетрясения, а того, что окажется прав. Про просьбу не объяснять его пропажу нравом. Он говорил медленно, и когда закончил, Одинцов, всё это время ходивший по комнате, остановился у окна.

— Человек, который не опаздывает, — сказал он. — Это в нашем деле редкость, и при этом это то, что чаще всего убивает. Идёмте.

У Хадичи-апы они обошли комнату землемера и ничего в ней не нашли. Ничего, и в этом было странное. Постель была застелена. Три тетради лежали на столе. Верёвка с гирькой висела на гвозде. Не было нивелира, фонаря и футляра. Не было и письма: Хадича-апа вспомнила, что видела его вчера утром на столе, запечатанное, с надписью, и теперь стол был пуст.

— Ревизору, — сказала она. — Он говорил, что к ревизору в Омск.

Одинцов повертел в пальцах одну из тетрадей, понюхал страницы, посмотрел на просвет.

— Здесь вырвано три листа, — сказал он. — Аккуратно, по корешку. Вот остатки. Нож, не рука. Кто-то из дома?

— Никто не входил, — сказала Хадича-апа. — Дверь не запирала, но вчера и сегодня никто не ходил. Я бы услышала.

В дверях, не стучась, появился Крутицкий.

— Я узнал от Парфёнова, — сказал он. — Что с Прохором Селиверстовичем?

Он выглядел как человек, не спавший всю ночь: серый, поникший. Он вошёл в комнату, стал у стола и несколько секунд молча смотрел на тетради. Асылбек подумал, что никогда не видел его таким подавленным.

— Не поднимайте шум, — сказал Крутицкий наконец. —

Это очень мой совет. Человек нервный, одинокий, мог уйти к знакомым, мог запить, мог поехать в станицу, там у него был знакомый урядник. Через день-другой вернётся. А если мы начнём звонить во все колокола, мы его сломаем, он больше никогда не поднимет головы. Я возьму это на себя. Тихая проверка. Я сам поговорю с городничим.

— Игнатий Лаврентьевич, — сказал Одинцов, — когда вы в последний раз его видели?

Крутицкий повернулся к нему. На лице его не дрогнул ни один мускул.

— В среду утром, в присутствии. Он заходил ко мне. Вы же знаете, я уговорил его не писать в Омск.

— Конечно, — сказал Одинцов. — Конечно.

После его ухода они стояли у окна. Из слободки доносилось пение, перемежавшееся голосами торговцев. Дворовые куры возились в пыли, и день был такой ясный, что хотелось не думать.

— Он просил меня не объяснять его пропажу нравом, — сказал Асылбек. — Тогда чем объяснять?

— Не знаю, — ответил Одинцов. — Но объяснение, которое придёт вам в голову первым, обычно самое удобное, а удобное и верное сходятся редко. Поезжайте-ка к Клеверным. Один. Я кашляю, мне нужен воздух, а вам нужно смотреть не на меня.

Пятницу в Рамазан не пропускали даже те, кто весь год обходил мечеть стороной. К полудню двор перед ней был по-

лон: сапоги и калоши стояли рядами у ступенек, как обувь у порога огромного дома, а у арыка, пущенного вдоль каменной ограды для омовения, люди сидели на корточках, подвернув рукава, и лили воду из медных кувшинов на руки, на лицо, на шею.

Асылбек привязал лошадь у ворот. Ему не нужно было сюда: Одинцов сказал «поезжайте», и в этом слове ничего не было про мечеть. Но он не мог ехать на Клеверные с тем, что носил в груди с рассвета, и не положить это куда-нибудь. Он снял шапку, потом сапоги, сел у арыка и заметил то, что заметил бы и Лукин: вода шла тонкой ленивой струйкой. В мае арык у мечети шумел так, что перебивал голос муэдзина. Сейчас в нём можно было пересчитать камешки.

Пятничная молитва

Внутри было тесно и тихо. Пахло шерстью, розовым маслом и прохладным камнем. Асылбек встал в третий ряд, плечом к плечу с незнакомым дунганином и с торговцем из Гостиного двора, у которого на прошлой неделе проверял весы и которого оштрафовал. Торговец кивнул ему, как кивают человеку, с которым сейчас всё равно. Хутбу читал имам Гибадулла-хазрат, сухой старик лет шестидесяти, в белой чалме, с голосом таким тихим, что задние ряды подавались вперёд. Он говорил о воде. Не о той, что в арыках, а о той, что течёт сквозь человека: о милости, которая идёт, пока её не

удерживают в кулаке. Асылбек слушал и вдруг понял, что старик говорит о нём. Не потому что знал: просто всякий, кто слушал сегодня, слышал о своём.

После молитвы люди расходились неохотно, останавливаясь на ступенях. Имам стоял в дверях, принимая руки. Когда подошёл Асылбек, он задержал его ладонь в своих.

На ступенях мечети

— Ты пришёл не по службе, — сказал он. — По службе приходят после молитвы, а ты пришёл до.

— Я не знал, зачем пришёл.

— Это лучший повод.

Он повёл Асылбека вниз по ступеням, к арыку, и они сели на тёплый камень, где только что сидели те, кто умывался.

— Землемер пропал, — сказал Асылбек. Он не собирался этого говорить. Сказал.

Имам кивнул, не удивившись.

— Рыжий, в очках. Он ходил ко мне. Не за верой, говорил, что за цифрами. Сидел вот здесь, на этой ступеньке, мерил наш арык и наш колодец, записывал в тетрадь и всякий раз извинялся, что отнимает у меня время. — Он помолчал. — Я давал ему чай, он мне страх. Мы расплачивались поровну.

— Он говорил вам про землетрясение?

— Он сказал: «Я не пророк, хазрат, я землемер, и потому мне не верят». — Старик улыбнулся одними глазами. — Я ответил, что и пророкам не верили, но это не причина для землемеров терять надежду.

— А вы верите?

— Есть сура, которая называется «Землетрясение». Её учат детей наизусть, как стихи. — Имам сложил руки на коленях. — В ней сказано, что земля будет потрясена и вынесет наружу всё, что в ней лежало. Я читал её всю жизнь, как читают красивое. А в этом году стал читать как сказанное о нас. Не потому, что пришёл землемер. Потому что арык у мечети ушёл на ширину ладони, а старики помнят, что так бывало перед Беловодским. Они не говорят этого вслух. В слободке не принято громко говорить о том, чего боишься.

— Вы скажете им?

— Что я скажу? Что спать лучше во дворе? Меня спросят: хазрат, вы уверены? И я отвечу: нет. И они скажут: тогда зачем пугаешь. — Он покачал головой. — Я не умею пугать. Я умею напоминать, что всё, чем мы владеем, мы держим взаймы. Но это не отменяет того, что на ночь можно выйти из дому.

— Если он вернётся...

— Если он вернётся, скажи, что арык ждёт его. — Имам поднялся, придерживая халат. — И береги не его, береги то, что он сказал. Человека можно найти и потерять. Слово, сказанное вовремя, не теряется. Оно идёт, как вода, по самому низкому месту, пока не дойдёт.

Асылбек надел сапоги, взял шапку. За его спиной тихо звенел арык, и он впервые за этот день услышал, что вода звенит.

От мечети он поехал на Клеверные. Был час пополудни, и над равниной стояла такая прозрачная жара, что вешки с красными верхушками плыли в воздухе, как поплавки. У Дымовского склада стояли подводы, возились рабочие, сновал приказчик Куприянов, который при виде Асылбека снял картуз, и в этом жесте была нарочитая вежливость.

— Не было, — сказал он. — Землемера не видали. Ксенофонт Платонович уехали во вторник, в Кульджу. Вернутся ли в срок, не скажу.

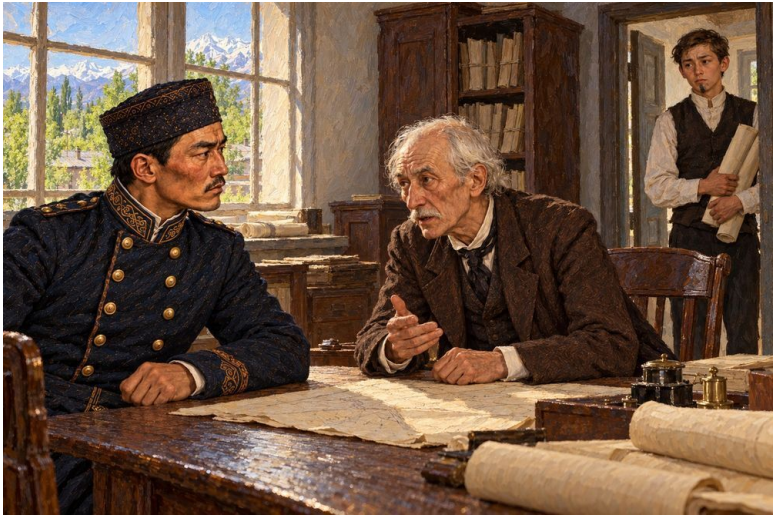
— А ночью здесь кто?

— Сторож. Ночью сторож. Он ничего не видал.

На западной стороне склада, там, где леса поднимались до самой кромки, одно место показалось Асылбеку странно светлым. Он на мгновение задержал на нём взгляд и решил, что это от солнца.

Глава одиннадцатая. Межевое отделение

Пятница, 22 мая, после полудня. За шесть дней



Межевое отделение Семиреченского областного правления помещалось в длинном одноэтажном доме на Губернаторской улице, и, пока Асылбек шёл к нему от Клеверных участков, он успел придумать три предлога для визита и все

три отбросить. Ни один не годился. Приходить к начальнику чужого ведомства и спрашивать про пропавшего подчинённого нужно с поводом, а повода не было: Лукин не был ни родственником, ни просителем, ни подозреваемым. Он был человеком, которого вчера никто не видел.

В конце концов Асылбек решил сказать правду, ту её часть, которая не обязывает. В присутствии, сказал он дежурному писарю, получено заявление от квартирной хозяйки о том, что землемер не вернулся на ночлег; надлежит выяснить, не отправлен ли он с поручением и не известны ли начальству адреса его родственников.

Дежурный, мальчик лет девятнадцати с чернильным пятном на подбородке, с облегчением доложил, что Карл Иванович в отъезде до вечера, зато в отделении есть Лука Фомич. И что Лука Фомич знает всё.

Лука Фомич Бережной оказался человеком, по которому можно было бы изучать историю канцелярий: сухой, согнутый, с пергаментными руками и необычайно прямым носом, на который он вдобавок надевал две пары очков одну поверх другой. Он служил в отделении с тех пор, как оно называлось «комиссией», и помнил в лицо всех землемеров, которые приходили и уходили за тридцать лет. Говорил он громко, потому что плохо слышал, и очень чётко, потому что понимал это.

— Лукин! — сказал он, едва Асылбек произнёс фамилию, и даже поднялся. — Прохор Селиверстович! Что с ним?

— Он не вернулся домой.

— Не вернулся? — Бережной огляделся, словно искал, кому ещё это сообщить. — Господи помилуй. Идёмте. Идёмте, он тут сидел.

Они прошли через большую комнату, где за дюжиной пустых столов скрипели чьи-то перья, и остановились у окна. Стол Лукина был самым маленьким и самым чистым. Сукно на нём лежало ровно, с тремя аккуратными квадратами света; справа стоял стакан с отточенными карандашами, слева лежала стопка линованных листов, сверху придавленных гладкой речной галькой. Ящик был не заперт. Асылбек выдвинул его и увидел то, что ожидал: тетради в клеёнчатых обложках, коробочку с перьями, пузырёк с чернилами. Он взял пузырёк, поднёс к свету, и чернила в нём были чёрные, дубовые, густые, с едва заметным буроватым ободком у стекла.

— Он не пользовался казёнными, — сказал Бережной, будто читая его мысли. — Всё говорил, что казённые выцветают. На третий год бумага белая, а текст фиолетовая тень. Я ему: Прохор Селиверстович, вы же не для вечности пишете. А он: именно для вечности. — Старик покачал головой. — Единственный. Остальные берут из общей бутыли, и бутыль на всех, и пишут, пока не кончится.

— У вас в отделении фиолетовые?

— Все до единого. Анилиновые, из Казённой палаты, по рубль двадцать за бутыль. — Он вытянул шею. — А что?

— Ничего. Привычка спрашивать.

Асылбек отложил пузырёк. Под тетрадями, у самого дна, он нашёл небольшую книжечку в синей обложке, с загнутым уголком: карманный календарь на текущий год, из тех, что раздают в канцеляриях к Новому году. Страницы были испещрены мелким прямым почерком. Он быстро перелистал до мая. «14 мая. Просил в архиве тома 4, 5. Выдано один. 15 мая. Вода ушла. 17 мая. Воскр. Церковь Покрова. Диакон. Про пасечника. 18 мая. Касым: два золотника. Извиниться. 19 мая. Мерил колодцы, слободка. Мальчик (Сенька)...»

На пятницу, 22 мая, ничего не было. На четверг, 21, сверху, поперёк клетки, стояла запись, сделанная чуть торопливее, чем остальные:

«Чт. 21. 22 ч. К. у. Показать цифру».

Асылбек прочёл её дважды. «К. у.» — Клеверные участки. Двадцать два часа. Десять вечера. «Показать цифру». Кому?

— Можно взять? — спросил он.

— Для следствия? — Бережной посмотрел на него сквозь оба стекла. — Берите. Только распишитесь. Казённая вещь, хотя какая она казённая, раз он сам себе купил.

Асылбек расписался. Сунул книжечку в карман вицмундира, рядом с четырьмя листами, и подумал, что носит в этом кармане уже целого человека. Старик отвернулся, чтобы вытереть что-то в глазу, и сделал вид, что поправляет очки.

— Вы позволите спросить, Лука Фомич. Лукин писал

здесь бумаги? Рапорты? Записки?

— Писал. Много. Рапортов было семь, и все по воде, один длиннее другого. Начальство читало первую страницу и клало в шкаф. — Бережной засопел. — Карл Иванович их не любил. Он человек не злой, но осторожный. Говорил: земмер вздумал считать воду, когда мы просим у казны сто тысяч на водопровод. Вы понимаете? Мы строим планы на двадцать лет, а он приходит и говорит: воды в реке столько-то, а вы её уже трижды продали. Это неудобно.

— Какой водопровод?

— Городской. Проект утверждён в январе, деньги просим в Петербурге. Областной архитектор чертит вторую очередь. — Старик заговорил медленнее. — Вода, молодой человек, это вам не пустяк. Вода в Верном это как соль в России. На ней все живут, и все на ней нечисты.

Асылбек задумался. Бережной тем временем, оглянувшись, подошёл ближе и заговорил шёпотом, что при его глухоте было равнозначно обычному разговору в соседней комнате:

— Я вам скажу. Меня никто не спрашивал, а я скажу. Тома. Он просил тома. Пятнадцатого мая просил четвёртый и пятый, водяные записи, с участками. Я выдал ему четвёртый, пятый был у Карла Ивановича, в шкафу, у него ключ. Лукин ждал. На четвёртом бились десять дней. А потом, представьте, пятый вернули. В четверг утром, двадцать первого. Я пошёл смотреть. Листы вырезаны.

— Каких?

— С сорок первого по сорок седьмой участки. Вырезаны лезвием, ровно, как масло. Остались корешки. — Бережной сглотнул. — Я спросил Карла Ивановича. Он сказал: Лукин, наверное. Лукин брал домой. Я сказал: Прохор Селиверстович человек, который не вырежет страницу даже из собственной тетради. Карл Иванович сказал, что я стар.

— А ключ от шкафа у кого?

— У Карла Ивановича. И у меня. — Он сделал паузу. — И у дежурного, на случай пожара. Все в отделении знают, где лежит запасной: под чернильницей. Это не секрет.

Они стояли у окна. Снаружи шумели тополя, и на стол Лукина падал солнечный квадрат, медленно ползший от стакана с карандашами к стопке чистых листов.

— Ещё одна вещь, — сказал Асылбек. — Бланки. Отделение выдаёт официальные бумаги на своих бланках?

— Разумеется. — Старик повернулся к шкафу, достал стопку серо-голубой бумаги и положил на подоконник. — Вот. Верх печатный: «Семиреченское областное правление. Межевое отделение». Внизу место для подписи. Бумага особая, с водяным знаком, мы её заказываем отдельно. В уездное её не отпускают, это наша.

— А кто берёт бланки?

— Все. — Бережной развёл руками. — Что за вопрос. Все, у кого есть дело к землемерам, а таких в области сорок человек. Выдаётся по книге. — Он выдвинул ящик, достал тол-

стую тетрадь в чёрной обложке и открыл. — Вот. Смотрите: с первого мая... Бутаков, областной архитектор, два раза. Казначейство, один. Городничий Тарасов, по городской части, три. Уездное управление, Парфёнов, два. Игнатий Лаврентьевич, один раз, двадцатого мая... — Он поднял глаза. — Ну, он, конечно, составляет ведомости по участкам, ему нужно.

Асылбек почувствовал, как внутри что-то сжалось. Не от самой записи: это была запись как запись, десять бланков, расписка «И. Крутицкий», ровная, круглая, чуть наклонная подпись. А оттого, что он сам, без всякого приказа, остановил на ней взгляд на лишнюю секунду. И увидел, что Бережной это заметил.

— Все берут, — повторил старик громче. — Книга ведётся небрежно, не подумайте. Кто расписывается, кто нет. Я тут уже лет шесть не успеваю следить.

— Лука Фомич...

— Я стар, — сказал Бережной. — Я глух. Но я не слеп. И не дурак. — Он поправил очки. — Я вам ничего не говорил.

— Вы мне сказали, что бланки берут все.

— Да, — согласился старик с облегчением. — Именно это.

Асылбек поблагодарил, спрятал карандаш и повернулся к двери. Но тут в комнату вошёл человек, и скрип перьев в углу разом стих.

Это был Карл Иванович Вейс, начальник отделения.

Асылбек видел его на приёмах: тонкий, бледный, с коротко стриженными соломенными волосами и тонкими вертикальными складками у рта, которые делали его лицо вечно недовольным. На нём был вицмундир с тремя рядами пуговиц, застёгнутый под самое горло, и от этого казалось, что он стоит на каблуках, а не на ногах.

— Господин Мырзабаев, — сказал он, не здороваясь. — Мне доложили, что вы расспрашиваете моих людей о землемере Лукине.

— О том, где его искать, Карл Иванович.

— Лукин не по вашему ведомству.

— Он не вернулся ночевать, и хозяйка подала заявление в присутствие.

— Хозяйка, — повторил Вейс. — Татарка?

— Да.

— Понимаю. — Он сделал паузу, значение которой Асылбек понял не сразу. — Лукин человек исполнительный, но чрезмерно склонный к преувеличениям. Вчера он должен был сдать мне свод по Малой Алматинке, и не сдал. Позавчера отказался принять поручение по съёмке. Если он решил, что может не вернуться, не предупредив начальство, это его дело, и его вина. Я не имею оснований беспокоиться.

— Но вы не знаете, где он.

— Я не обязан знать. — Вейс подошёл к столу Лукина, провёл пальцем по сукну и посмотрел на палец. — Скажите вашему начальству, что отделение готово оказать содействие

по официальному запросу. Письменному. В остальном, господа, простите, у нас много работы.

Он повернулся и вышел. В комнате снова застучали перья, но стук стал громче, как бывает, когда люди делают вид, что ничего не слышали.

Бережной проводил Асылбека до дверей.

— Он не злодей, — сказал он вполголоса. — Он боится. Это другое. Все боятся. Что воды в Верном не хватит. Что водопровод не дадут. Что ревизор приедет, а у нас всё в расходах.

— А вы?

— Я старый. — Бережной улыбнулся беззубым ртом. — Мне уже ничего не страшно, кроме того, что кто-то скажет: Лукин был неправ. Потому что он был прав. Я это тридцать лет вижу: кто прав, тот одинок.

На крыльце Асылбек остановился. Солнце стояло в зените, и дом отбрасывал на землю короткую плотную тень. Он вынул из кармана синюю книжечку и посмотрел ещё раз на запись, сделанную торопливым почерком: «22 ч. К. у. Показать цифру». И вдруг понял, что это не приглашение. Это назначенная встреча. Лукин не шёл туда один. Он шёл показать.

Кому-то, кто сказал: «Приходи, я помогу».

Он не знал, чьё это было «я». Он знал только, что тот, кто это произнёс, умел так говорить, что человек шёл ночью, один, на пустырь, без нивелира в руках, а с цифрой, как несут

подарок.

Глава двенадцатая. Пальто

Суббота, 23 мая. За пять дней

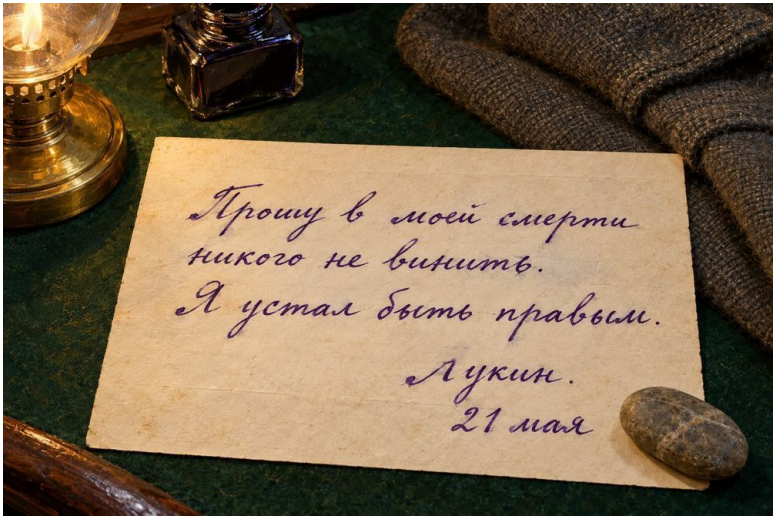
Городовой Фомин нашёл пальто на рассвете, на берегу Малой Алматинки, у места, где в Крещение святят воду, а в обычные дни прачки полощут бельё. Он шёл с ночного обхода и хотел умыться; пальто лежало на плоском камне, сложенное вдвое, с картузом сверху и листком бумаги, придав-

ленным галькой.

К семи там стояло уже полгорода, то есть пятеро: городничий Тарасов, городовой Фомин, двое прачек, не вовремя пришедших за водой, и Асылбек, которого привёл мальчишка-посыльный Ванька, запыхавшийся и серьёзный, как бывают серьёзны дети, принёсшие дурную весть.

Викентий Павлович Тарасов был человек пятидесяти пяти лет, румяный, лоснящийся, с бакенбардами, которые он расчёсывал по утрам так же серьёзно, как другие молятся. Он смотрел на людей так, будто они уже виноваты, но он милостиво готов простить. Сейчас он держал в руке листок и читал, шевеля губами.

— «Прошу в моей смерти никого не винить. Я устал быть правым. Лукин. 21 мая». — Он опустил бумагу. — Ну вот. Всё ясно. Утонул.



Записка на камне у реки

— Кто утонул? — спросил Одинцов.

Судья появился из-за спины Асылбека, в сюртуке, надетом поверх ночной рубашки, и с таким выражением лица, какое бывает у людей, поднятых с постели не по делу. Он кашлянул и взял листок из рук городничего. Прочёл. Перевернул. Посмотрел на просвет.

— Любопытная бумага.

— Обыкновенная, — сказал Тарасов. — Лукин писал. Почерк его.

— Почерк, пожалуй, его. — Одинцов поднёс листок к са-

мому носу. — Но бумага не его. Видите, верх оторван? Не оторван, срезан. Ножом, по линейке. Это нижняя половина бланка. Верх был печатный: наименование учреждения. Срезан, чтобы не знали какого. А у Лукина, я видел, в тетрадях линованные листы. Он бланков не держал.

— Взял где-нибудь.

— Взял. — Одинцов вернул бумагу. — В той самой канцелярии, где служил.

Тарасов пожал плечами.

— Государственная служба, Гаврила Евграфович. Бумага везде казённая. Что вы хотите? Человек пишет предсмертную записку, берёт, что под рукой.

Асылбек смотрел на пальто. Оно было серое, потёртое на локтях, с оторванной пуговицей, которую давно собирались пришить. В правом кармане лежал носовой платок. В левом пусто. На внутренней подкладке были крошечные пятнышки чернил, как веснушки.

— А пенсне? — спросил он.

Тарасов поморщился.

— Какое пенсне?

— У него было золотое пенсне на чёрном шнурке. Он носил его всегда. Без него он ничего не видел.

Одинцов, не меняясь в лице, перевёл взгляд на городничего.

— Вот это, Викентий Павлович, и есть то, что мне нравится в этом деле, — сказал он. — Человек слепой без своих

стёкол идёт ночью к реке, не взяв ни фонаря, ни нивелира, о которых, кстати, хозяйка говорит, что он их брал. Идёт, снимает пальто, складывает, оставляет записку. И входит в воду, держась за что? За воздух? Слепые топиться ходят, если ходят, по перилам.

— Фонарь бросил в воду. Нивелир бросил, пенсне бросил! — Городничий начал горячиться. — Течение быстрое, вынесло. Я прикажу прочесать берег.

Прочёсывали до полудня. Двое городовых и четверо солдат из караула шли по колено в воде и вдоль берега, палками прощупывали омуты, глядели в камыши. Нашли разбитую бутылку, детский башмак, павшую кошку. Лукина не нашли.

— Вынесло, — сказал Тарасов. — Выплывет через три дня ниже, у Илийской переправы.

Крутицкий пришёл в десять. Он встал на берегу, снял картуз и долго стоял, не говоря ни слова. Потом тяжело, как люди после долгого дня, опустился на тот же плоский камень, на котором лежало пальто.

— Это я, — сказал он тихо. — Я виноват. Я должен был заметить. Он был так одинок, а я...

— Игнатий Лаврентьевич, — сказал Асылбек, — вы не виноваты.

— Я говорил ему «подожди». — Крутицкий поднял на него глаза, красные, воспалённые. — Я боялся, что он сорвётся и наделает глупостей, а получилось ещё хуже. — Он замолчал, потом добавил ровным, усталым голосом: — Я

возьму на себя уведомление его родных. Нужно будет составить акт о несчастном случае. Не о самоубийстве. Для церкви, для похорон. Это всё, что я могу для него сделать.

Тарасов с облегчением закивал. Одинцов ничего не сказал, и Асылбек подумал, что он, наверное, единственный человек на этом берегу, кто слушает не слова, а паузы между ними.

В церкви Покрова в этот день служили заупокойную. Была Троицкая родительская суббота, день, когда по обычаю поминают всех усопших, и храм с утра пах свежей берёзой, сеном и сыростью. Весь Верный вынул из сундуков траур. Женщины стояли с записками, мужчины с кутьёй, дети с бумажными цветами.

Городничий пришёл с запиской. Диакон принял её, развернул и застыл.

— Здесь имя Прохор, — сказал он. — Усопший раб Божий Прохор.

— Лукин, землемер, — сказал Тарасов. — Утонул вчера. Сегодня поминаем.

Рябов положил записку на аналой, посмотрел на городничего долго и тихо, как смотрят на человека, который не понимает, о чём просит.

— Пока он не найден, Викентий Павлович, он не усопший, а пропавший. Нам не велено поминать как усопшего человека, о смерти которого нет свидетельства. Тем более того, о ком говорят, что он сам. Этого нельзя поминать во-

все. — Он вздохнул. — Я помолюсь о нём, как о заблудшем. Но в поминание не внесу.

— Отец диакон!

— Я могу ошибиться в вере, Викентий Павлович. В том, о чём не знаю, я ошибаться не хочу.

Тарасов вышел, красный, раздражённый, оставив записку на аналое. Диакон некоторое время смотрел на неё, потом осторожно взял двумя пальцами, как берут то, что может обжечь, и сунул в рукав.

Потом он вернулся к ектении, и голос его, который никогда не подводил его на службе, на словах «о упокоении душ усопших раб Твоих» неожиданно сорвался, как срывается человек на гладком камне. Регент заметил и ничего не сказал.

Вечером, на пороге дома, Одинцов задержался.

— Я не верю в записку, — сказал он негромко. — Не верю в воду, не верю в пенсне. Но и в то, что я не верю, я тоже не верю: у меня нет ни одного факта, только форма предмета, которого не должно быть. Мырзабаев, вы мне нужны завтра.

— Завтра Троица.

— Тем лучше. В праздники люди расслабляются и говорят больше, чем собирались.

Γ

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.